

P2 3

A-44





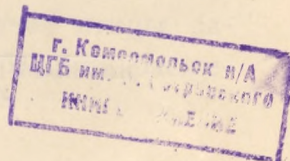
Л-47
2/3

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

САРАНЧУКИ

ЧИТ. ЗАЛ

Рисунки
БОРИСА ТИТОВА



ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКВА 1932

*

50348
7

4

1932

Р

Ответственный редактор Г. Цыпин
Техред. С. Мирингоф. Главлит
№ В 15777. Тираж 7.200. Фосп
№779/141. Бумага 82.5X110 $\frac{1}{16}$ Сда-
но в производство 13/VIII — 1932 г.
Подписано к печати 26/IX — 1932 г.
Печатн. листов 4 $\frac{1}{4}$.

Напечатано в 1-й Гостиполитографии "Крымполиграфтреста" в Симферополе.
Упол. Крымлит "А" № 90. Заказ № 3570. 1932 г.

МАРОНОВ ЗЕВАЛ: томила нудная расслабленность после многих суток бездельного вагонного сидения. Да и встретил его мелкий северный дождик, неотступный, как судьба,— такой же провожал и из Мурманска. Ему было холодно и скучно тут, на берегу Аму, под угрёвой консервных ящиков и керосиновых бидонов. А он-то, чудака, поверил в розовое и призрачное цветение тамариска, которое началось еще от Карши!

На предпоследнем полустанке он съел кебаб и теперь, украдкой от спутников, сковыривал с досен застылый стеариновый жир. Их было немного — бородачи в чалмах и тельпеках, женщины и дети; у них следовало ему поучиться азиатскому терпению, с каким они ждали запоздалой переправы. Они сидели недвижно, дети Азии, в особенности ближняя к Маронову женщина. Ветер обжимал красным платьем ее острые, почти девичьи коленки. Она была молода и еще не привыкла к нарядной тяжести соммока; замужем она была недавно, и муж дремал возле, этакий немолодой туркменский Иван, с запухшими в трахоме глазами. Как и все, она сидела прямо на земле, важно и печально созерцая тощий хурджум перед собою, точно в нем заключалось все прошлое ее народа и будущее ее самой. Ничто не отвлекало ее: ни единоборство ветра и могучей птицы, застрявшей на середине реки, ни внезапный из облачной расщелины луч остылого глиняного света.

— А у нас, под Тулой, суше!—неожиданно крикнул Маронов.

Ему хотелось взглянуть в лицо туркменки, но он увидел лицо ее мужа. Оно было насмешливо и бесстрастно, а брови его были длинны и черны, как локоны его папахы.

Так и сидели, чужие. Ветер размел облачную грядку на западе, и вечер сделался кровав, как жертвоприношение. Бесплотный красный сок разбрызгался по небу, и тут на мгновение Маронову почудилось, что Аму стала походить на ржавый меч, который извечно струится в пересохшее сердце Кара-Кумов. Но понесло холодом, и Мароновым снова овладела зевота. Нет, зря сюда переправлялся на древних гупсарах Александр; ему следовало устремиться дальше, на север, где нашлись бы и печи и звериные шкуры. Видно, ввали справочники и друзья, которых уже закидывал сюда партийный жребий. А он-то, чу-дак, ждал сразу томительных и жгучих обольщений, которыми издали пугает европейца и смертельно манит Орта-Азия!

По младости он не участвовал в священной драке, которою открылась его эпоха. Он поздно созрел для жизни, когда революция уже укрепилась, а ему еще хотелось осязать неизгнившего врага, ударять и самому принимать сокрушительные удары. Ему сказали тогда: „Вот Азия, дерись!..“—и он поехал, уже в одиночку, но где она? За весь путь от самой Бухары она проглянула лишь в вялой пестроте узбекских халатов да в жестком взгляде туркменского мужика. Да и Аму вовсе не та, которую обещал ему Клим! Просто глиняный великан моется где-то там, в отрогах Гиндукуша, и вот они возлегли на Мароновском пути, бегучие, желтые помои... Он имел достаточно времени своему негодованью: переправа подошла только ночью. Из недр туркменского мрака явилась деревянная развалина, скорбная ровесница помянутого Александра; подобно купающемуся кабаненку, буянил и фыркал на ней нефтяной фордзон.

В полночь он крепко верил, что на коленях его навсегда останутся синяки,— так усердно прижимал он их к подбородку, пытаясь согреться. Ему снился он сам, его пути по земле,

непостижимые, как странствие саранчи, снился покинутый недавно океан и на берегу его давешняя туркменка; в ее пугливые веки уже всочилась мужняя трахома. Она не видит, и напрасно Маронов показывает ей ледяную пустыню, напрасно гладит робкие коленки чужой жены,—она не слышит его прикосновений. Для своих дел он был на редкость решителен, этот Маронов!.. К полудню, когда зной опустился на городок, он забыл, как замерзал под брезентовым пальтишком и клял приятеля, сманившего его на азиатскую работу; забыл все, кроме сна. Жара наступила незаметно, в тот затянувшийся час, пока он пожирал коричневые пирожки, начиненные порохом и перцем; жара началась с неукротимой изжоги, и только получасом позже принялся стыдливо потеть его несколько приплюснутый нос.

Уже не тянуло отыскивать по жаре прокуренные те коридоры, куда все равно должна была привести путевка. После перенесенного в снегах и наедине с голодными собаками он заслужил свое право на целые груды свирепых этих пирожков, на бочки обжигающего несравненного напитка. Он требовал, чтоб раскрылось наконец то, что вчера было лишь прищурено; он завоевал свое право требовать—и все старались так, точно знали, что за ними наблюдает человек, доказавший миру свое мужество. Чайхана выходила на базар, и Маронов, не отрывая губ от пиалы, видел все те цветные лоскутья, из которых хаотически сшит был азиатский день.

...все старались точно заводные. Гражданин скоблил ножиком голову другого гражданина; подобная дегтю кровь текла по лезвию, и оба в увлечении не примечали. „Привычка, а вот на севере свечи жрут!“—лениво вспомнил Маронов и заново наполнил кок-чаем опустевшую пиалу. Пожилой туркмен, наверно самый тощий на всем пространстве от Каспия до Аму, продавал коврик, у которого одна половина была трижды тусклее другой. „...пока ткала, у мастерицы убили жениха!“—сочувственно решил Маронов, и еще раз вкусил от пирожка. Под

деревом, в кругу редких зрителей, пел бахши, и лоснящееся дерево дутара лаист о вторило ему. Он пел, всяко качая свою кудлатую папаху, то закидывая голову так, что через горло его можно было бы увидеть самое сердце, откуда исходил стонущий звук, то совсем наклоняясь к пыли, словно и муравья призывал в свидетели искренности своей и знания. „У туркмен нет танцев,—соображал Маронов, мысленно листая последнее Климово письмо,—потому что танцуют самые руки их, инструменты и папахи. Вот он, танец для себя, который вы ищете, слепые, ученые черти!.. “ Его радовала пестрота впечатлений, точно вот распахнулся ящик перед ним с волшебными игрушками; его даже смешила легкость, с какой он распутывал старинные азиатские загадки.

Словом, когда он покидал чайхану, внутренности его почти дымились, в голове как бы играли на оглушительной ребячьей трубе, и было стократ приятней вина это непреходящее обалденье. Азия была найдена! Мировое колесо, по заключению Маронова, вертелось вполне исправно. Безграничный океан материи слабо колыхался, и на голубой его волне убогоустроенно покачивался душевный поплавок Маронова. Ничто не предвещало близости того дня, когда во исполнение Мароновских мечтаний враг множественный и явный подступит к воротам советской Азии; когда слепящее великолепие это поблекнет и засмердит; когда в действие вступят вагоны мышьяка, грохот железных щитов, чусары и безумие.

И цепь событий, в которой последним звеном было его второе рождение, начиналась, кажется, со встречи с терьякешем.

На пороге чайханы к Маронову пристал унылый останок человека. Заслоня проход впалой, безжизненной грудью, он молил о подачке, и было в том упорстве нечто, заставлявшее пристальнее взглянуть в его собачьи покорные глаза; это было еще омерзительнее, чем ступить ногою в непристойную какую-нибудь слизь. Застигнутый врасплох, Маронов с безгливой

неловкостью шарил у себя по карманам... и вот тогда-то пришла в движение неподвижная дотоле цепь:

— Так-так, поощрай курение опиума в социалистической стране!

Маронов испытал удивление, подобное легкому солнечному удару. Мазель знал Мароновых еще по вузу—они вместе поступали на агрономический факультет, но старший и неусидчивый Яков перебежал в музыкальный техникум, а потом раскидала их центробежная сила великой стройки. В особенности Мазель дружил с Яковым; тем сильнее было охлаждение, когда слишком усложнились их личные счеты. Скоро они без всякого ущерба для личного спокойствия примирились с возможностью гибели друг друга. Вдобавок незадолго до отъезда на север кто-то написал Якову о не совсем героической смерти Мазеля, застигнутого басмачами ночью в песках, причем перечислял даже количество ран и обстоятельства этого нападения. Пером приятеля владело, повидимому, более огорчение, чем правда... Ибо вот Мазель стоял возле в знакомой синей косоворотке и в распахнутом вороте, на обгорелом треугольнике кожи сияли созвездия его знаменитых веснушек.

— Давно в Дюшакли?

— Вчера, Шмель, вчера...

— Надолго?

— Не знаю, Шмель, не знаю. Меня Клим совратил...

— Ты опоздал. Его перекинули в Казакстан... и потом у Климаскучища. Если захочешь, я перетяну тебя к себе. У меня округ, как на ладони, у меня весь хлопок. А хлопок — это уже ситец, а ситец — разве это не хлеб?!

Петр прищурился:

— Я подумаю... Это, говорят, советский Каир. Ну, я и поехал сдуру!

Мазель не понял его иронии:

— Да, здесь вредное солнце. — Подвигал плечами и прибавил, как бы извиняясь:—На юге всегда бывает жарко!

Азиатский торг был в полном разгаре. Никто в отдельности не кричал о своем товаре, как подобало бы купцам, но трудно было в этой сутолоке вести незадушевный разговор. Звон чайханной посуды, лязг безменов, полдневный вопль ишаков, шелест сыпаемого риса и наконец зычные призывы базарного глашатая, который машистой походкой и с пророческим посохом обходил разноплеменную эту толпу, — все слилось в упругий, именно шмелиный, гул. Мазель происходил из крохотного местечка под Одессой; имя его было Шмуть, а товарищи прозвали Шмелем, — отсюда и заскользнул этот образ в Мароновское сознание.

— Откуда?..

Маронов еле отскочил от глашатая, борода которого на солнце отливала зеленым:

— С Новой Земли, Шмель... и прямо сюда.

Тот недоверчиво прищелкнул языком:

— Опять шестизэтажная какая-нибудь авантюра!

— Шмель, ты знаешь меня?.. я искал драки. И потом — где есть земля, там должны быть и люди!

— Робинзоны? — усмехнулся снова Мазель на Мароновское мальчишество.

— А Яков музыку, значит, вконец, забросил?

— Нет, у нас там был граммофон.

Мазель внимательно взглянул на Петра; ему почудилась издевка, порожденная какой-то сверхчеловеческой усталостью, но скуластое, полузырянское лицо Маронова улыбалось, и озоровато щурились зоркие, знакомые глаза. Она слепила в этот час, неистовая азиатская палитра.

— ...и долго вы там?

— Три года, Шмель.

— Это наверно очень интересно?

— Это похоже... если в пустом доме взглянуть в зеркало и понять свою истинную цену. Тут самые обстоятельства заставляют быть строгим к себе. Человек по моему оттого и стремится к объединению с себе подобными ... - Он смутился

тихой Мазелевой улыбки и не договорил. Чтобы объяснить, он хотел приступить наконец к своему невероятному повествованию, но Мазель перебил его:

— Постой... ты не спешишь? Зайдем ко мне. Я в отпуск и сегодня гуляю последний день. Дело в том, что жена моя не раз вспоминала... —Он подошел ближе и, глядя в самые губы Маронова, прибавил твердо—...о вас. Ей наверно будет очень интересно послушать ваши приключения.

Петр вопросительно пожевал свои губы; он по догадкам знал обстоятельства, в силу которых Яков поехал с ним на Новую Землю, и потому ему был не особенно ясен этот душевный оборот Мазеля.

— Хорошо. Но только пойдем по солнечной стороне. Я приехал греться, Шмель. Веди меня в самую Азию, в самое пекло веи. Иззяб я в этой чортовой тундре...

— На севере, должно быть, холодно,—тихо вставил Мазель.

— Вот именно... ты всегда прав, Шмель, тебе нельзя возражать! Знаешь, бывали часы, когда мы дрожали так, что тряслась посуда на полках. Мы не разбирали слов друг у друга, мы мычали. Ты смеешься?

— Нет, Петр, я не смешлив.

Тесный дворик, обсаженный тутовником, заливало солнце. Огромная, размером с комод, собака дремала в тени глиняного дувала. Черные мухи вились над ней. Мазель свистнул ей, и та, не просыпаясь, вильнула хвостом. Потом он спросил, не оборачиваясь:

— Кстати... я хотел спросить, Яков приехал вместе с тобой?

— Нет, Яков умер год назад.

Мазель кашлянул и продолжал гладить собаку.

— Разве не было лекарств?

— Нет, мы пили отвар сосны... Это все равно, что при оспе мазать иодом ножки кровати.

— Мне жаль Якова, —сказал Мазель просто.

— Не горюй, Шмель, будь искренен!

— Мне очень жаль Якова,—повторил Мазель, поворачиваясь лицом.

Больше они не обменялись ни одним словом о Якове ни в тот день, ни в один из последующих. Открытую дверь кроме собаки сторожила кривая, усатая швабра. В сенях на кирпичном полу еще стояла лужа и пахло мыльной пеной. Комнату делила наспех повешенная простыня; жена Мазеля одевалась за нею. Из-под простыни видны были ее голые до колен ноги, стоявшие на скомканном и мокром полотенце; Петр почти с испугом вспомнил вчерашнюю туркменку: это лишало его той уверенности, которая потребна была для предстоящего разговора.

— Тебе звонил Акиамов,—сказала женщина, узнав шаги мужа.—Он просил тебя зайти...

Мазель подошел к самой простыне:

— Ида...—голос его звучал виновато,—не волнуйся. Приехал младший Маронов и привез дурную новость: полгода назад умер Яков.

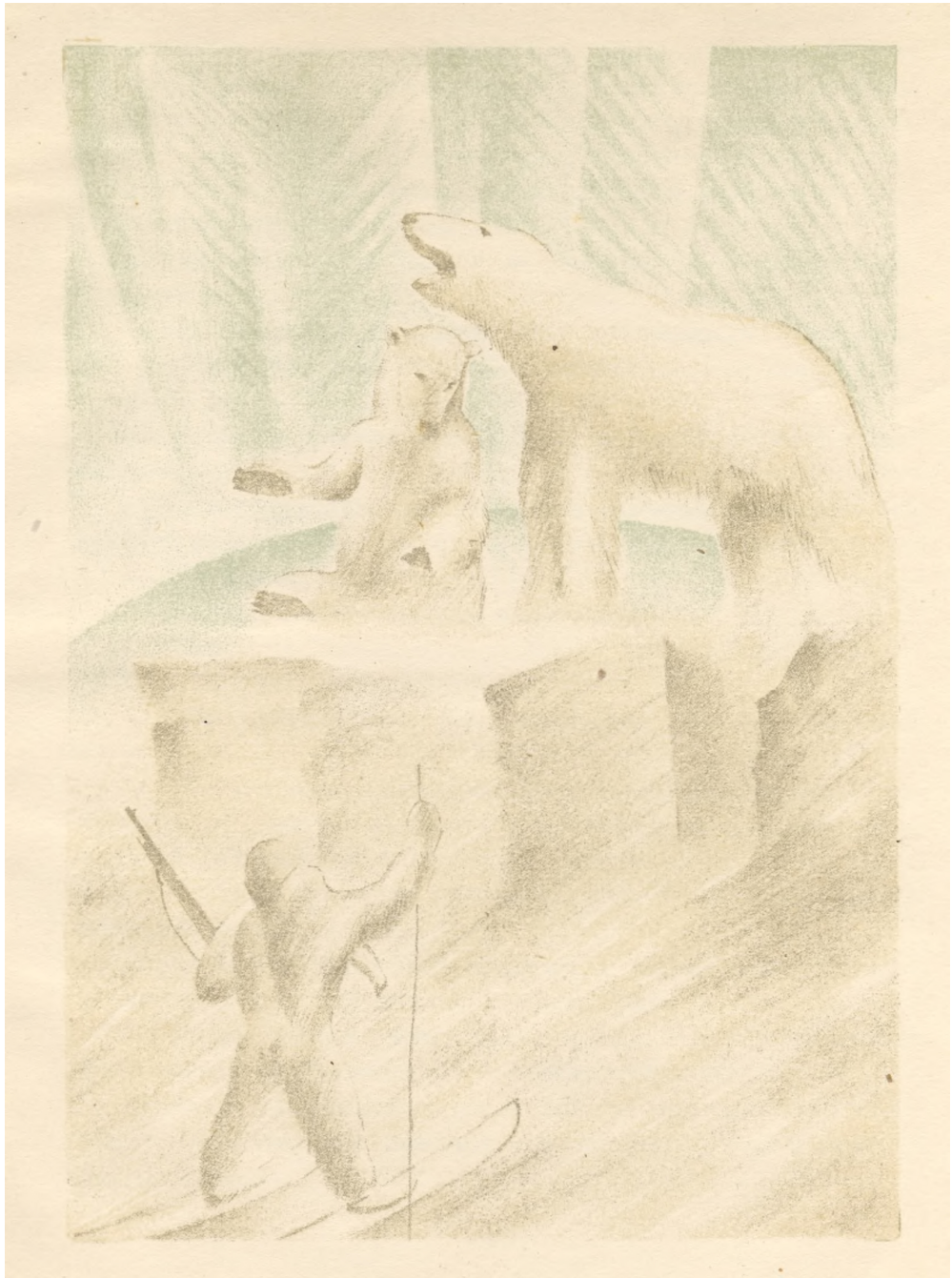
— Год,—деловитым баском поправил Петр.

— ...год? Да, извини, год.

Никто не отозвался на известие. Но Петр видел, как черный целлулоидный гребешок упал по ту сторону простыни. Ни муж, ни жена его не поднимали. Потом женщина сказала глухо:

— Я сейчас оденусь.— И даже простыня не колыхнулась.

Петр стоял у окна; он был юн и соответственными эмоциями начинен до отказа; все эти пустяшные детали представлялись ему бесконечно значительными. Он обернулся к окну и изобразил на лице достоинство печального вестника. В город вступал караван, длинный и пыльный, наверно из Афганистана. На ишаке, болтая ногами в опорках, ехал караванбаши. Лицо его не выражало ничего; может быть, он мысленно пел. Разнозвучно качаясь на облыселых верблюжьих шеях, плакали и кричали колокольцы. Все звуки в городе умерли, и только эти осколки древнейшей человеческой мелодии волновались и цвели; их можно было насчитать две октавы. Маронов



проследил глазами поводыря, пока тот не скрылся за величественной глиняной кулисой. Ему показалось, что он уже слышал однажды эту музыку, не то в выветрившемся детском сновидении, не то... Ему некогда было вспоминать: наступала минута, для которой он промчался в Среднюю Азию. Кроме того, усилилась пыль, поднимаемая тысячами верблюжьих ног, и Маронов спокойно закрыл окно.

Потом когда он оглянулся на хозяина, того уже не было в комнате.

— Он пошел к Акиамову. Это председатель исполкома. Ну, садитесь. Вы брат Якова? А не похожи...—и качнула головой.

— Я много моложе его. Шмель хороший парень! — сказал Петр.

— Хотите сказать—догадливый?—подсказала женщина без всякого упрека.—Что же, вы встретили его случайно?

— Не совсем.

— Значит, имеете прямые поручения?

- Нет.

Она подумала.

— Ага, любопытство. Ну, вы сделали довольно большой путь.

— Да, это даже по глобусу три с половиной вершка. Сказать правду, мне интересно было взглянуть на женщину, из-за которой Яков метнулся на Новую Землю.

— Но ведь вы также поехали с ним. У вас были другие обстоятельства?..

Маронов как будто даже обиделся, и такой уж выработался у него рефлекс—при обидах опускать глаза.

— Я был здоров, искал драки и ищу. Республика пошлет меня завтра на Мадагаскар — и я буду счастлив!

Женщина улыбнулась на многословную приподнятость младшего Маронова: как все-таки они не были похожи друг на друга, братья!

— Скажите, Яков умер... сам?—Она не волновалась, произнося это имя.

— Нет, от цынги. Видите?—Он приоткрыл десны, и отраженное солнце щедро блеснуло в золоте его зубов.—Одного товару рублей на триста!

Она уже привыкла к Мароновскому стилю:

— Да... ведь это началось у него давно, еще в те годы, когда люди вообще бывали склонны заболеть тифами, ненавистями, несбыточными Любвями...

— Пустяки, Яков был достаточно трезвый человек. Вы знаете тот случай, когда он попал в деникинскую контрразведку?

— Да, я читала.—Она пристально поглядела на Маронова и решила, что единственное сходство с Яковым—в том резком жесте, которым оба как бы подсекали произнесенные слова.

Она спросила, только чтоб скрыть маленькое свое смущенье

— Как все это случилось?

- Сколько у вас есть времени... слушать?

— Куда же мне итти с мокрой головой!..

— Хорошо. Я поехал туда по контракту... За три дня Яков пришел ко мне ночью и попросил взять с собой. Я посидел с ним двадцать минут и понял, что ему это действительно необходимо... — Маронов бессознательно коснулся пальцами редковатых усиков, оставленных на верхней губе, и сконфуженно отдернул руку. - Он ночевал у меня, а наутро мы подписывали с ним какую-то бумагу со множеством пунктов. Нам давали полтораста собак, ружья, бочку масла, тулупы, консервы, бинокль, разборную избу, метеорологическую станцию, керосин, аспирин и ящик апельсинов.

— А книги?

— Я взял с собой много чистой бумаги. У меня были особые намерения на этот счет.

— Нет, я спросила про Якова.

— У него не было никаких вещей, кроме одеяла. У него был полосатый плед, которым он и укрывался... вы, конечно,

помните его?—Она покачала головой и простила ему его дерзкую, стремительную юность.—Когда пароход отходил, оставив нас на берегу, мы завели граммофон и сели на голых ново-земельских камнях: нам казалось, что так смешнее. Был четверг, и шел снег. Собаки выли, мужчины были пьяны.

— С вами были и женщины?—быстро спросила Мазель.

— С нами был один самоед из-под Мезени, величайший трус земного шара. Он боялся всего и, когда встречал человека в тундре, за много обходил его. Он действовал у нас за кухарку. Мы звали его Марией. Напившись водки, он начинал суеверно плакать: тогда он трусил даже своей тени и жался к стене, чтобы убавить ее размеры.

— Ну...

— На пароходе зазвонили к обеду, и мы стали тоже готовить себе едо. Граммофон играл что-то из Шуберта, — так сказал Яков. Снежинки крутились на черном граммофонном блине. Яков смотрел на них, поглаживал подбородок и молчал. Когда мы с Марией кончили варку, пластинки уже не было. Я не отыскал ее и потом; подозреваю, что он закинул ее в море. Кстати, с этим пароходом он послал вам свое последнее письмо. Вы получили его?

— ...но не прочла.

— Это ваше право... ладно! Так мы начали жить, то-есть немножко рисковать,—давить песцов силками, собирать гагачий пух для республики, изучать направление льдов и ветров и записывать все это в довольно толстую книгу; там были еще графы для температуры почвы, для количества влаги в водомере и для... да, для воздушного давления этих свинцовых небес. Сказать правду, нужно иметь хорошую волю, чтоб три года подряд иметь своим собеседником только самого себя: Яков, как вы знаете, был неразговорчив! К слову сказать, барометр всегда показывал меньше, чем было у него на душе... Постепенно мы подружились с братом. Он был неплохой, но довольно порывистый человек; сила его была нестойкая сила.

Шмель—не то: у него и маленькая, но неиссякаемая, как струйка в водопроводе... Мы поняли, что Новая земля никогда не станет Старой; там жить солдатам, но не людям вообще. Скалы были усеяны гнездами гагар; мы по очереди спускали друг друга на отвесе и шарили по их гнездам... Потом снега повалили исправнее, и однажды, возвращаясь домой, мы увидели двух белых медведей. Они вышли к нам чуть не в обнимку, ровные, как братья, спокойные. Я выстрелил по ним дважды, но они по счастью не заметили. Слушайте, мои слова тают от этой жары, холод их пропадает. Чтобы понять хорошо, надо своими глазами видеть тот ледяной океан, расплеснутый, как отчаяние, небеса, залитые пылающим фуксином, и наконец ночь, достаточную, чтоб сойти с ума...—Он сдержался от какого-то резкого суждения и тыльной частью ладони вытер испарину со лба.—У вас еще не просохли волосы?

— Нет, но откройте окно. От пыли в Азии не укроешься. Стало душно...

Петр кивнул головой; все двигались в окне азиатские головы в голову корабли, связанные шерстяными веревками, подобные воспоминаниям. Густейшая пыль придавала странную замшевость этому видению.

— ...ладно, мы жили неплохо, я не имею претензий к своим хозяевам. Мария ужасно поправилась, и мы шутили даже, что она беременна от своей собственной тени; это иногда случается с Мариями. Тогда это звучало ужасно смешно. Богатства наши копились, мужья европейнок заплатят великолепными машинами за наши удивительные меха. Даже когда нам бывало скверно, мы не забывали про эти машины... Так шло, но через год и четыре месяца у собак началась горлянка... по-моему, так они называют собачий дифтерит. Мы растерялись; их умерло сразу семьдесят пять, а мы их знали всех по именам. Тогда самоед сказал: „Собакидохнут, и мы все докуримся, как цыгарки...“ Мы накричали на него, как никогда, потому что в сущности кричали на самих себя. Мы дали ему

побольше водки, и пока он пил, а воздух тоненько свистел у него в ноздрях, мы отправились, как обычно, в обход расставленных капканов и силков. Все они были пусты, а в одном чудом оказалась птица. Была какая-то необыкновенная розовость в мире, мороз доходил до сорока восьми. Когда мы вернулись, продрогшие и успокоенные, самоеда не было, а печь стояла нетопленной. Я не клевету на этот честный и несчастный народ,—просто у Марии была женская душа. Мария боялась умереть. Она сбежала и увезла с собой многое из наших припасов, наш порох, наши лекарства. Мы замечали и раньше, что Мария зашивала таблетки аспирина и каскары в ладонку и носила на шее как амулет,—и правда, она никогда не болела. Мы смеялись—теперь он мог снабдить амулетами целое племя,—но смех не давал нам утешенья. Он вез все это на последних собаках в окончательную неизвестность и гибель, потому что никаких поселков вблизи нас не было. Вот тогда-то и наступила ночь. Собственно, она пришла ровно за месяц до того, как началась та, полярная, шестимесячная. Знаете, это очень сильное испытание; мы пережили их две; третью я проводил уже один... Мы затопили печь, поели из оставшегося и посидели молча; потом я пошел на метстанцию записать погоду.—Он заметил вопросительный блеск в глазах женщины и догадался.—За все время он только раз произнес ваше имя. У него уже не было зубов, оно вышло, как „Иза“. Но я слышал о вас еще раньше—когда он доказывал необходимость своего отъезда куда-нибудь на чортовы кулички. Тогда-то мне и захотелось поглядеть на вас. Не сердитесь на меня: я думал, что вы моложе...

Она потерянно провела себя по глазам:

— Да, я постарела. Наше поколение не знало юности. Вы, Маронов, исключенье Много работы!

— Много работы,—повторил Петр.—Ну, волосы ваши высохли. Подробности той ночи я опускаю...—Он хотел подчеркнуть и не сумел только выразить, что все, происходящее не

при дневном свете, освещается светом изнутри и оттого всегда крайне субъективно. А ему именно хотелось по возможности центрофугировать новоземельский факт.

Мазель не ответила. Пряди черных чуть курчавых волос рассыпались по ее шее и загорелым, несколько полным плечам: женщина старела. Маронов взглянул на нее, и ему почему-то захотелось пить. Тощая рука высунулась из рукава и, гомерически распухая в суставах, схватила свое собственное отражение в стекле. Потом рисунок рук и головы расплюснулся, графин наклонился, и жидкость полилась в стакан. Маронов пил жадно, заглатывая воздух вместе с водой. Вероятнее всего, то была попытка заглушить вулканическое действие азиатских пирожков. Графин опустел, и отражения приняли прежние привычные размеры.

— Теперь говорите вы. Почему вы ушли от Якова?

— Перестала любить, как это говорится.

— Это происходит так быстро?

— Вы юны, Маронов, и вам еще предстоит объехать дюжину житейских Мадагаскаров. Наше поколение живет для другого.. мне стыдно объяснять, ведь вы же грамотны! Мы избегаем произносить самое это слово не потому, что огрубели, а потому, что слово это—слабость. Поэтому, если мне потребуется, я просто сойду с Акиамовым, с Зудиным, с вами... без всяких терзаний и сердечных прободений. Ну, кажется, я совсем запоздаю на работу!—и, даже не извинившись, ушла за простыню.

Петр встал и поклонился:

— Располагайте мною, когда угодно!

И опять простыня не колыхнулась.

Все еще тянулся караван в окне; верблюды шагают еще ленивей, чем тягучее азиатское время. И опять Маронов слушал громоздкий плач колокольников и деревянных иссохших бубенцов. Вдруг он вспомнил: он услышал его впервые, когда, шатаясь от истощенья, он кружил за голубым песком, попавшим в силос. Надо было убить его ударом сапога в нос, чтобы

не испортить драгоценного меха, но даже и на то, чтобы вытащить ногу из снега, нехватало силы. Это была та же самая ранящая мелодия, но тогда она цветными кругами выделялась через уши и глаза... и вот, обойдя громадные пространства, она новой щемящей тревогой возвращалась в Маронова. Он не бежал от судьбы; сам он сказал про себя, что вколочен в Азию, как гвоздь, и не существовало в мире клещей, чтобы вырвать его с избранного места. И когда из-за последнего верблюда показался бегущий к нему человек, он снова чувствовал себя заряженным аккумулятором.

Петр не ошибся: судьба бежала именно к нему:

— ...Маронов?—крикнул тот и уперся в подоконник руками, чтобы перевести дыхание.—Товарищ Мазель просил вас немедленно притти в исполком, к Акиамову!

— Что случилось?—вздрогнул Петр, и даже сам не приметил, каким именно способом он сразу оказался по ту сторону окна.—Что, война?..

— Нет, телефонограмма!—и потащил Маронова за локоть.

Петр не сопротивлялся. Вдруг стало так, словно никогда в жизни не бывало Якова Маронова и его необыкновенных приключений на Баренцовом море. Ежеминутно в сердце страны вливалась новая кровь, а старая, отжитая, без сожаленья выплескивалась наземь...

Память о брате была первою вещью, которую вместо балласта выкинул Петр, устремляясь в новые рейсы.

Безымянный пограничник с поста Сусатан-Кую увидел бурое облако возле самого полдня. Оно равномерно и быстро поднималось из-за плешивых холмов, которые со всех сторон обступают горизонты Сусатана. Оно багровело по мере приближенья, и потом враз, как по стовору, завyli две красноармейские собаки. Пограничник очумело взирал на потускневшее небо, летевшее на высоте двух деревьев, ибо под Дюша-кли его перекинули с Сахалина, где никогда не случалось

такого. Вдруг по козырьку его вскользь ударило что-то, и легкий этот удар почти ошеломил воображение пограничника. Он поднял это с травы; оно было розово и чуть желтовато в надкрыльях; оно имело усы, как у кузнечника; лапки были желты, с черной жесткой бахромкой; они двигались и щеко-тали огрубелые красноармейские руки... Он разглядывал это долго и со всех сторон, а оно все жило и копошилось, а туча все неслась, нарастая и темнея цветом, распространяя деловитый шелест и гнетущую тревогу. Самый свет затмевался ею, и скоро в зрительном сознании пограничника не осталось ничего кроме розового этого существа, которое явно умирало на его ладони. Затем, точно пробудясь, он гадливо вытер руку о траву и произнес ту самую фразу, которую два часа спустя кинул и Зудин в кабинете Акиамова:

— Чорт знает, какая пакость!

Акиамов был огромен, желт и волосат; это его деда старозаветными клычами отбивались на Геок-Тепе от искусных скобелевских пушек. Предисполкома читал донесение из района и подчеркивал каждое слово толстым красным карандашом. Так, пламенея, бумага намекала ему на необходимость своевременного отвода подкулачников из аулсоветов ввиду предстоящей перевыборной кампании. Он хмурился: Туркмения тех лет имела столько фронтов, сколько было месяцев в году; он хмурился потому, что не хватало людей, и еще потому, что Мазель уже полчаса терзал его слух историей батрака Хош-Гельды. Он хмурился, но обычная усмешка сочилась из его туркменских глаз, медленных и чуть закошенных назад.

• — ...и никто не знает, где у него разум. Он всю жизнь ел отбросы и только в праздник—унаш—лапшу с верблюжьим молоком и красным перцем. Зимами он гонял хозяйские косяки на колодец Халли-Мерген. Товарищи, а? Веснами он уходил на удой скота без жратвы и кибитки. Он носил свой тулуп, пока от него не остался один клочок шерсти, в котором не удержится и вошь... И вот Хош-Гельды в совете. И бай



зовет в гости Хош-Гельды. И тот приходит и ест вонючую щурupu из прошлогоднего мяса, и уже забыл про все обиды. Я говорю ему: „сакали, он тебя сносил, как тулуп, в котором мерзнул еще и твой отец!“ Я говорю...

Его рассказа о забывчивом батраке хватило бы на час, ибо тот происходил из Кендерли, где находились главные хлопковые плантации Мазеля. Акиамов продолжал дырять бумагу, а Зудин, самоотверженно борясь с зевотой, перебирал пограничные сводки, только что полученные нарочным. Вдруг худое и белесое лицо его сморщилось и, когда распрямилось, уже не было прежним. Если бы не бланк высокого учреждения, начальник погранотряда решил бы, что красноармеец от жары и скуки высидел такую чепуху, но начальник умел читать своих бойцов, как книгу, и знал заранее, что поместится в любых обстоятельствах на той или иной странице. Сусатанский пограничник был родом из-под Шенкурска, где не рождаются шуточные и улыбочные люди; кроме того, он был известен как отменный мастер кавалерийской рубки. Обычно он ударял в левую ключицу врага, и скошенная часть легко, как по смазке, сползала наземь. И вот начальник Зудин решил, что пограничник смутился—или не оказалось налицо вражеской ключицы, или пришлось впустую его добрый сабельный удар.

— Читай, Берды! — озабоченно сказал Зудин, расстелив сводку перед Акиамовым.

— В ваш район из Афгании летит розовая туча,—прочел predisполкома, а Мазель так и остался сидеть со ртом, раскрытым на полуфразе. Акиамов посмотрел на обороте, но там не было ничего, кроме жирного отпечатка чьего-то чернильного неосторожного пальца.— Красиво пишет, сукин сын... но почему розовая?

— Ты понимаешь, Берды?

Замечательно интересно. Что я, факир?—...а может быть, он пугался произнести это ответственное слово, которое через

неделю нарушило привычный ход вещей и всколыхнуло всю Туркмению.

Зудин объяснил: по должности своей он понимал все тайны вещественного мира и уже тем более необыкновенную сусанскую сводку; доблесть красноармейского красноречия заключалась тут в его краткости. Акиамов отложил карандаш: очередные дела сами собою отодвигались назад, а впереди все одинаково чуяли величайшую из драк и несравненную людскую сутолоку. В минуту сосредоточенного этого молчания и вошел Маронов. Он четко поздоровался с порога, ему не ответили, а Зудин по-военному подозрительно пощупал его коротким взглядом и снова спрятал глаза — так в ножны прячут боевую шашку.

Мазель спросил, пряча под шуткой свою нервность:

— Петр, вот что... ты занимался когда-нибудь энтомологией?

— В детстве собирал жуков. На них клев хороший по осени...—засмеялся Маронов, не догадываясь ни о чем.

— Уже да, хорошо!.. и потом, ты ведь был на агрономическом. Товарищи, это и есть Маронов, о котором я давеча поминал. Он ужасно иззяб там, на Шпицбергене... так, кажется? Товарищи, я поеду сам, а со мной Маронов. Хочешь ехать в пекло, Петр? Зудин заготовит пропуска...

Маронов недоуменно молчал, и втайне Мазель был очень доволен его молчанием.

— Видите ли, ужасная бедность в людях. Нет людей...— сказал Зудин и неопределенно махнул на окно, под которым кишмя-кишел базар.— На весь округ пять агрономов, и один из них безвыходный алкоголик...

— Но я, так сказать, не полный агроном!— предупредил Маронов.

— Это неважно. Высидели же вы три года на этом... как его?... Шпицбергене?

— Да, Шпицбергене,—торопливо подтвердил Мазель.

— И потом,—продолжал Зудин, уставляясь в мароновское переносье, — кажется, я встречал вашего брата в Ташкенте

в девятнадцатом году, при осиповском восстании. Самые приятные впечатления. Он такой маленький, с бородкой?

— Ну, уж ты...—дернулся Мазель.—Яков даже и усов не носил, а дальше Урала не выезжал никогда. Словом, он вот о чем, Маронов: хочется тебе побыть в пекле, о котором ты просил? Есть такое теплое местечко на земле, Кендерли!

Петр сказал с возможной четкостью:

— Да...

Тогда никто еще не предполагал, что через две недели Маронова все равно захлестнула бы мобилизация. Ни один человек в стране, включая и дюшаклинских старожилов, не мог предсказать размеров предстоящего бедствия.

Пауза длилась долго. Вдруг Мазель вскочил, поочередно устремляя палец в каждого, кто находился в эту минуту в акиамовском кабинете:

— ...а египетский хлопок, что будет с моим хлопком? Ведь Сусатан —даль?.. — Прокричав все это и не встретив видимой поддержки, он несколько сконфуженно сел на прежнее место.

Разумеется, он не напрасно пугал и шпорил себя и других. Правда, до Сусатан-Кую было пятьдесят семь километров. Сусатан-Кую лежал на самой границе. Сусатан-Кую значит— колодец, который продал воду. Названию этому нельзя было отказать в живописности: границей служил глубокий безводный арык. В этой омертвелой жиле скрыто бегали ящерицы и росла нелюдимая бурьянистая трава. Именно здесь кончался богатейший Дюшаклинский оазис, а дальше простиралась диковая страна, Афгания,— по слову давешнего пограничника, откуда время от времени налетали лихие колтоманские шайки и жгучие, пыльные ветры. Первые несли на себе новехонькие одиннадцатизарядные английские винтовки; они рыскали по пустыне, они вспарывали породистых маток в погоне за каркульчей, они били из-за углов советскую пограничную стражу и, нападая, кричали: „Ба с, дави!..“, откуда и прозвание басмачей. Вторые несли в своей утробе засухи, зной и томительную,

всепроникающую пыль; они выпивали дехканские арыки, они вылизывали скудную туркменскую воду, они норовили прорваться вглубь, в самое сердце Кара-Кумов. И если не останавливали их встречные ветры или слабые, дымчатые отроги Кугитанга, черные вихри гуляли тогда по пескам, и вся пустыня завивалась вкосмы, как каракулевая шапка. Тогда и географический контур Туркмении, издали похожий на каракульчевую шкурку соторванными лапками, получал себе могущественное оправдание.

Теперь из недр Афгании, дорогой ветров и басмачей, выступила саранча.

Мазель в сопровождении Маронова выехал из Дюшакли только шестнадцатого мая и, найдя свой хлопок в превосходном здравии и целости, соблазнился проехать кстати и те двадцать два километра, которые отделяли Кендерли от Сусатан-Кую. Они ехали верхом вдоль знаменитого оросительного канала, ветерки продували свежестью палящий зной, и Мазель всю дорогу повествовал Маронову о воде. Нет, он был все-таки не без диковинки человек; говоря о воде, которая однажды заторопится в пески, он заметно добрел; упоминая имя Карабея, делателя босагинской воды и угрюмого мечтателя, он благоговейно подмигивал; касаясь Транскаракумского канала, который пока не проведен был даже и на бумаге, он становился невыносимо великодушен. Он имел карманную книжечку, в которой аккуратнейше расписывал самые мельчайшие дольки своего дня, но вместе с тем верил, этот Шмель, что непременно настанет день, когда, уже седые, они поедут вдвоем с Карабеем в лодке по пустыне, и на берегах будут стоять чудесные сады, всегда раскрытые настежь для Карабея и его безвестного спутника. Следует отметить, что помянутые сады он мыслил все-таки вперемежку с хлопком.

— Орта-Азия, Петр, это очень много! — пел он, не обращая внимания на улыбки Маронова. — Какую Европу можно было бы накроить из нее с лигами наций, лимитрофами и ежедневными

драками! Пойми, Маронов, что эта величественная нелепость...— и обводил рукой пространства пустыни, подступавшей к самому каналу —... требует умного хирургического вмешательства. И пусть это будет Транскаракумский канал. И пусть здесь будут ловить рыбу, в этих песках. И пусть здесь родится не обыкновенная прохлада. Это будет тоже часть прямой, ведущей к социализму. А что, ты слышишь?.. вода уже пахнет!

— Засадят вас, чудаков! — смеялся Петр над его упоением.

— Плевать!.. три года за Транскаракумский канал, ибо примут во внимание беспорочность и пролетарское происхождение. О, мы! — Вместе с тем, он чрезвычайно пожимался, ибо не был привычен к верховой езде; лошадь его чуть не заступала распущенных поводьев и дважды оступалась в арык, глянцевитый от водного изобилия.

В Сусатане цвела джуда; ее могучий аромат был сильнее пыли. Красноармейцы играли в городки, сытые кони храпели в стойлах. И все это благолепие было лишь искусной маскировкой беды, которая, обманув фланги, ударила фронтовой атакой в лоб республики. Того же числа, в час чрезмерного Мазелева торжества, огромная кулига саранчи перелетела границу под Кушкой и, минуя станцию Сары-Язы, входила в южные Кара-Кумы. Часом позже другая летная кулига надвинулась на безоблачное небо Сурназли, за четыреста от Кушки километров. Двигаясь без прерыва, она двое суток закрывала пловучее эрсаринское солнце. Ночь застала ее в пути. Кулига опустилась на ночлег, располагаясь в полях и на деревьях, избегая, однако, самого селения. Стояло полное безветрие.

Все население, включая стариков и детей, вышло в поля с фонарями, у кого были, с коптилками и всякой гремучей домашней утварью. Стоя у межи, они били в тазы и ведра, махали палками, кривлялись и крутили какие-то детские трещотки, пытаясь распугать упавшую с неба беду, но оглушительный этот грохот пугал более их самих и скот их, нежели негаданную гостью. Насекомые слепо прыгали из-под ног

дехкан, вползали на халаты, жирной грязью налипали к подошвам, и вдруг раздался визгучий крик: кричал какой-то старик, забравшийся в самую гущу джугары с чугунным котлом, чемгой, в которую остервенело ударял канкыром; кричал он, закрывая лицо руками от саранчуков, облепивших его до макушки. Вопь его была тонкая и пронзительная, она заглушала даже ревучую музыку той ночи, и вот тихое мелкое царапанье потревоженной кулиги наполнило тишину. Попытка дехкан была напрасна. Гость сидел прочно: миллионноголовый; он летел издалека, он устал, он хотел спать и не собирался уходить несатым от хозяйского стола, но на рассвете, обезобразив Сурназли, розовая кулига улетела; согласно сводки республиканского уполномоченного по борьбе с саранчей—чусара, ока ушла в направлении на Хакан-Кул, Дзерген и дальше в песчаную неизвестность северо-востока. Сводка не означала ничего; пути кулиги не были прослежены до конца, а Узбекистан не получал афганского подарка.

В пески уходили разведки; в первые же дни тревоги их было отправлено семнадцать. Они плелись по зыбучим бескрайним пространствам, переваливая с бархана на бархан, и следы их тотчас же срастались позади. Саранчи не было. Разведки вторгались на сто километров вглубь, доходили на севере до самого Аджи, видели девственные саксаульные рощи-ящериц и сусликов в них, неуловимых и проворных, как галлюцинация,—саранчи не видели. Пустыня пронизывала их ночным холодом, опаляла полуденным зноем, пытала жаждой, потому что вода их иссякла или протухла, а лица их растрескались и напоминали камни, много полежавшие в очаге. Саранча исчезла. По карте они находились в расположении Дукер-Кую. но колодца этого и воды его не оказалось на месте, потому что Дукер значит плевок, а плевок мог и высохнуть. Лишь на обратном пути, усталые и виноватые, они нашли двадцать четыре гектара со свежее-отложенными кубышками. Энтомологи с жадностью собирали из-под осыпей, из-под кустов и корней

дохлые образчики врага; начальники обмерили зараженное пространство и неохотно повернули вспять.

Их ждали с нетерпением, а они пришли с голыми руками.

— Как видите,—захлебываясь, пояснял энтомолог местного происхождения, делая отчет дюшаклинским властям о своей неудачной разведке,—переднеспинка, обратите внимание, имеет характерный коричневый тон, переходящий на боковых лопастях в розово-желтый. Вся поверхность, знаете, да-да, в неправильных точечных морщинках и круглых бугорках. Всем видно? Длина тела пятьдесят семь миллиметров, задних бедер—двадцать шесть, усиков—семнадцать, а число члеников на усиках... простите, одну минуточку!—Он наклонился с лупой и пинцетом, не обращая внимания на злые лица дюшаклинских властей.—Число члеников ровно двадцать восемь! Итак, судя по крупности тела, это несомненная самка, знаете, да-да. Экземпляр был найден уткнувшимся головой вниз. Обратите кстати на зубчатые края мандибул...

— Мандибул?..—переспросил тихо Акиамов, а руки его, большие и синие, как конина, слегка двигались.—Замечательно интересно...

— Погоди, Берды, —прервал другой туркмен, председатель той части пустыни, которая входила в Дюшаклинский округ.—Сколько поколений в лето?

— Простите, я не кончил, знаете, да-да,—скривился энтомолог.—Теперь произвожу вскрытие брюшной полости. Очень характерны потемнение нижней части брюшка и общая его дряблость. К моменту смерти жировое тело исчезло, полость наполнилась... что-с? э, темнокоричневой жидкостью. Кубышка яичек оказалась неотложенной, и самые яички не дозрели, полагаю, знаете, да-да, что эпидемия эта того же характера, которую наблюдал Гаррель у мексиканской саранчи и приписывал патогенному действию, знаете, да-да, коккобациллус акридорум!

Это соответствовало правде; афганские купцы рассказывали накануне, что громадная кулига прилетела из Ширама

в Андхой и дохла на пути,—под каждым деревом ее набирали по два мешка. Совпадение это дразнило слабой надеждой, что дело обойдется как-нибудь без вмешательства властей.

— ...Интересно,—заговорил Акиамов, уже назначенный из Ашхабада окружным чусаром.—А нельзя твоего акридора искусственно развести, скажем, в бутылках... и потом машинкой прыскать его на воздух?

— Науке это неизвестно,—твердо ответил энтомолог; как презирал он тогда всех этих грубых практиков, не вникавших в романтику дела и требовавших немедленного результата.

— Ну, хорошо, а как его фамилия? — еще спросил окручсар, тыча карандашом в жалкие останки саранчука, прилипшие к бумаге.

— Это... вы про латинское название? Точного названия не имеется.

Все замолчали, ибо не знали, о чем можно было еще спросить его неприступную науку.

— Ну, а тоска по родине у ней есть, у саранчи?—искательным голосом спросил Мазель.

Энтомолог—а он действительно был из захудалых самородков—выпятил губу:

— Простите, я вас не понимаю.

— Эх... ну, например, я! Из-под Одессы. Тут я уже прыгаю шесть лет, привык, а все тянет меня туда, назад, где, так сказать, папа и мама. Я и рассчитываю так: ну, съест она тысячу гектаров, даже две...—лоб Мазеля внезапно вспотел:— три, чорт вас возьми, три!... а потом соскучится по родине и опять домой, нах хаузе, а?

Энтомолог благосклонно улыбнулся:

— Науке это неизвестно.

Акиамов медлительно шарил на подоконнике свой картуз.

— А что же собственно известно вашей науке?—спросил тихо Зудин, выстукивая пальцами в стол, а лицо его говорило: „Ты жрешь советский хлеб, так подгоняй же свою слюнявую клячу!“

— Во всяком случае обязательные постановления власти о минимуме уважения к науке ей известны!—блеснул тот глазами и оскорбленно стал рассовывать по карманам свой несложный инструмент, для лупы же у него имелся замшевый мешочек.

Туман первоначального смущения не рассеивался. Туркменский народ знал мароккскую кобылку; она шла из сухих ашхабадских предгорий и глинистых полупустынь, в двадцать седьмом ее разбили почти одновременно с Джунаид-ханом. Он знал азиатского прусика, который временами стихийно возникал в Голодной степи, на солонцах и в зарослях тугая; он пожирал ровно столько, чтобы вывести свое отвратное поколение и умереть. Народ слышал даже про эпихляхну, озимую совку, паутинистого блещика—грабителей хлопчатника, виноградников и бахчей, но никто еще не переживал такой, почти библейской напасти.

Наивные догадки, что Гератская провинция задержит основную лавину саранчи, не оправдались. Саранча врывается в пределы Туркмении изовсюду; она садилась уже в прикультурной полосе; ее измеряли количеством суток пролета и километрами посадки. Дехкане бездействовали, уверенные, что беда не всползет на их высокие дувалы. Но этот туркменский а в о с ь действовал, пока черные пятна саранчевой проказы не покрыли их житниц и не оголились плодовые деревья. Во многих местах, руководимые муллами и ишанами, они устраивали эпические жертвоприношения на пораженных полях и жертвенной кровью кропили неисцелимые эти раны: саранча охотно пожирала и кровь. Тогда первобытный страх понудил их попросту распугивать осевшие кулиги; насекомые поднимались и уже в рассеянном виде опускались на соседние поля, а все туркменская беда не убывала. И один только спокойно спал в эти тревожные ночи—сусатанский пограничник!

Борьба велась пока впустую, и когда полторы недели спустя в штабе у Акиамова, как назывался теперь его исполкомский

кабинет, состоялся доклад профессора, приехавшего в числе других из всесоюзного центра, установилось гнетущее затишье. Зудин в тот раз сидел возле председателя окружной контрольной комиссии; он сказал своему соседу:

— Темно, Абдуразыков, темно. Ровно в валеный сапог смотришь!

А тот, хоть и не понял сравнения, ответил так:

— Кундогы, Зудин.

Совещание началось поздно. Пока пили воду и просматривали горы саранчевых сводок, валявшихся на столе для всеобщего обозрения. Стояла гомерическая жара; все, как приклеилось к стульям, так и не шевелилось. Профессор пришел сам, откуда-то из задней, неожиданной двери. Он был в пиджаке и сапогах, которые легонько поскрипывали,—это последнее обстоятельство почему-то подействовало на всех крайне успокоительно. Многим даже показалось, что профессор не дурак выпить, и это также давало уверенность, что гость не просто мимоезжий турист, не бесплотный рыцарь некоей отвлеченной дисциплины, а приехал прежде всего работать. Он сел за стол и начал с того, что снял с себя пиджак и бережно повесил его на спинку стула.

— Вас не шокирует?—покосился он на Иду Мазель и так приподнял бровь, что глаз его стал совсем круглым, как копейка.—У меня, видите, немножко астма, и я не привык к высоким температурам.

— Да вы снимите, товарищ, и воротничок,—предупредительно вставил Зудин и чуть ли не протягивал руки, чтоб помочь.

— Нет, зачем же. Тут все-таки не баня!

Он начал с биологического очерка о странствующей саранче. Голос профессора звучал несколько глухо, и вначале трудно было предположить, что путное можно сыграть на этом разбитом деревянном инструменте. Но вот из горла его вырвались резкие, незнакомые звуки; кадык его, острый и в пупырышках, похожий на грудку ошипанного цыпленка, выпрыгнул

и спрятался в воротник; он назвал прежде всего имя этого множественного врага, покушавшегося в конечном итоге на все политические завоевания пооктябрьской Туркмении. Это была шистоцерка грегариа. Ее родиной считаются степи Судана, откуда она разносит свои губительные кубышки и на Пиренейский полуостров, и на Балеары, и на Азорские острова. Ее маршруты не изучены, но из Египта широким кольцом, через море и самый Синай, она проникает в Палестину и Сирию. Древний инстинкт ведет ее в Индию из песчаных пустынь Синда и Раджпутана. Ее кормят также равнины Белуджистана и Персии. Иногда, нежданная, как чума, она приходит с Солимановых гор. Порою она возвращается и делает кольца, как бы обманывая свою будущую жертву; ее дороги запутаннее, чем хитрые маршруты басмачей или торговые пути доисламских караванов...

Он торопился разбросать вокруг себя эти шелестящие географические имена, в которые, как в бумагу, была завернута правда о шистоцерке, но каждое имя имело свой отдельный смысл и цвет, для каждого находился свой особый звук на его голосовом ксилофоне.

— Ее жизненный инстинкт страшен, она множится почти как парамеции... но грознее их. В год она может дать до четырех генераций. Самка в состоянии отложить за лето девять кубышек, и в каждой количество яиц колеблется от восьмидесяти до ста. На квадратном метре может быть отложено до полуторы тысяч кубышек. Таким образом, гектар зараженной площади в идеальных условиях даст нам...—он иронически покосился в сторону Мазеля, который торопливо, ломая карандаш, украдкой от всех подсчитывал искомое количество особей.—Сколько у вас получается?—спросил докладчик.

— Сто двадцать миллионов с гектара,—вспыхнув, сказал Мазель.

— Мне некогда проверять, но это близко к истине. Так было в районах Нишапура и Хафа во время противосаранчевой

советской экспедиции в Персию, в двадцать седьмом. Кстати, если вас не особенно утруднит, курите себе в кулак и не дуйте мне в физиономию. Благодарю вас! - и продолжал кидать слова и цифры, обнажавшие лицо неведомого врага.

— Кубышка странствующей саранчи- это удлиненная, до восьми сантиметров, кучка склеенных между собой яичек. Вылупившись из яйца, насекомое через шесть недель уже летит, гонимое свирепой жаждой размножения. Саранча может лететь на высоте в полторы тысячи метров; попутный ветер ей нравится. Она летит и ест все, но ей всего мало. Наука делит период от рождения до окрыления на пять возрастов. Вылупившись, она уже ползет. Саранчуки четвертого возраста движутся со скоростью шесть метров в минуту. Я просмотрел тут сводки из южных Кара-Кумов; она приползет к вам, товарищи, через неделю, а первый возраст—самый губительный возраст. Россия не знала этого африканского вида саранчи. Только в канун мировой войны наблюдались незначительные залеты шистоцерки, теперь же имеем дело...

Он говорил еще много, и обещала быть бесконечной одуряющая музыка его деревянных молоточков. Акиамов сидел как гора; в выпуклом зрачке его застыло светился накрахмаленный воротничок профессора. Мазель все чинил карандаш, и работа его успешно близилась к концу, так как от карандаша оставалось не больше полувершка. Дюшаклинский энтомолог покачивал головой, как бы выражая этим свое сильное несогласие. Абдуразыков делал странные вещи: бессознательно он зацеплял ногтями волос из уха и неслышно выдергивал его; возможно, что он не чувствовал боли И вдруг Зудин перебил докладчика несравненно тоненьким и требовательным голосом:

— Ну... а бить ее можно, товарищ?

— Полагается, но летную не трогайте.

— Так она ж хлопок жрет...—закричал Мазель, потрясая пачкой сводок.—Читайте, нате, читайте, гражданин: „Уничтожено шестьдесят гектаров хлопчатника...“, „Уничтожен весь

клеверник...“, „Откладывают кубышки на стыке Кара-Кумов и Сухры-Кула...“, „Уничтожено двадцать восемь гектаров хлопчатника...“ Нет-с, мы ее будем бить... как вообще привыкли... ненавижу!—и губы его вдруг, такие ребяческие, что всем стало неловко за товарища, затряслись от гнева.

Профессор сочувственно смотрел на Мазеля и, слегка подымая бровь на него, едва не погрозил пальцем; он хотел прибавить, что и он тоже был молодым, но не сказал этого по тем же причинам, по которым отказался снять удушавший его воротничок.

— Лётную не трогайте, молодой человек. Она рассеется на еще большие пространства, и борьба утруднится во много раз. Берегите силы до поры!..—и стал надевать пиджак; лоб его еще лоснился, но от духоты отворили дверь, и теперь он страшился простудиться, ибо давно вышел из Мазелева возраста. Он уже кончил, ему оставалось только перечислить те немногочисленные способы борьбы с саранчой, которые знал он сам и через него его наука.

Наступила чрезвычайно томительная тишина. Окно было открыто. Под потолком, вокруг лампочки, не прикрытой ничем, бесшумно порхала всякая насекомая гадь, налетевшая на свет. Их было много, разнообразие их было сказочно, как выдумка природы, а уродливость их причудлива и беспредельна; тут были крылачи, усачи, ногачи, брюхачи... Акиамов, глядя на них рассеянно, дивился, чего только можно накрутить из тягучего ночного мрака, стоявшего за окном. Вдруг что-то длинное и несообразно крупное в сравнении с остальными впорхнуло в окно. Не садясь никуда, оно сделало три или четыре в разных плоскостях круга и так же спокойно вылетело на волю. Это и была шистоцерка грегариа; наверно ей было интересно послушать про себя. Ее видели все тридцать с лишком человек, наполнявших эту тесную, коридорного покроя, акиамовскую комнатку, все, не исключая Акиамова, но не понял никто. Не догадался и Акиамов, ибо, вдруг поднявшись,

он снисходительно потрепал по плечу энтомолога, ставшего совсем домашним и смирным после доклада профессора, и сказал вслух:

— Э, бычок... Твоя наука знает меньше, чем его наука.

...В ту же ночь Маронов, который оставался на всякий случай в Кендерли, получил телеграмму от президиума исполкома: „Мобилизованы, округ объявлен неблагополучным, оставайтесь чусаром Кендерли, телеграфьте десятидневки борьбы, Акиамов“. Так в суматохе тревожного того дня родилось это куцое, непростительное слово — т е л е г р а ф ь т е .

Туркмения наспех перестраивала свои ряды.

В эти недели все было о саранче—разговоры, мысли, плакаты, газеты и даже самые люди для нее. В округах почти сами собой возникали боевые дружины комсомольцев, студентов, девушек; созданные лишь сегодня, они уже завтра боевыми единицами отправлялись на места, размеченные штабом верховного чусара. В разведки уходили самолеты, не виданные в этой части пустыни, кажется, с самых бухарских битв. В столице республики мобилизовался полк Осоавиахима, и оружием его были лопаты, кирки, опылители, опрыскиватели. Требовался военный опыт в этом новом деле,—начальником эшелона был назначен краснознаменный командир. Полк отправлялся в неизвестность лишений,—в составе поезда находился рабкооп. Полк уходил в случайности, каких не повторялось со времени английской интервенции,—эшелон грузился с музыкой. Проводы отличались знаменательной краткостью; даже присяжные столичные говоруны благоразумно безмолвствовали в этот вечер, а он был насыщен полдневной истомой, и напрасно в последний раз на отъезжающих в пустыню дышал холодом снежный Копет-даг. Темнело, молчание угнетало. Тогда зажгли свет, и заиграли военные оркестры, распространя трепетный зноб гражданского возбуждения. Медь исходила треском; круглые толстые жуки запорхали вокруг электрических шаров полустанка; кое-кто видел, как в играющую трубу,

в самый звук, провалился один из этих летучих туркменских скарабеев и сумасшедше, почти искалеченный, вылетел оттуда...

Эшелон торопился. Теперь кулиги летели по всей границе, от Босаги до Фирюзы, неся на Туркмению взрывчатое свое семя. На конец мая площадь заражения в Кара-Кумах исчислялась диковинной цифрой в десять тысяч гектаров. Досужие математики подсчитали, что вся Средняя Азия не смогла бы накормить многомиллиардной оравы, которая должна была упасть на нее через месяц. В песках уже отрождалась пешая молодежь; пока она держалась барханных сопок, поедая тамариск, джугун и саксаул, но передние уже начинали ползти на колкие астрагальные поля, отделявшие пустыню от прикультурной полосы. Их влекло стихийное чутье оазисов, и, судя по началу, неделя эта была предисловием смерти. Даже на тех безжизненных межаульных тропах, ведомых лишь басмачам, они ухитрялись оставлять широкие, расплывчатые язвы. Они тащились, забивая своею массой открытые колодцы на караванных путях, перешагивая или пожирая самих себя и как бы издеваясь над своей собственной беззащитностью. Это был неумолимый закон согласного множества, повторенный тысячекратным эхом пустыни. Они шли, и мелкие паразитные мухи вились над ними. Они шли, а позади оставалась ободранная, загаженная земля, ее гнусный скелет, ее вонючая шкура, ее стыдное исподнее лицо... И на нем, печальнее могильных камней, торчали обглоданные стержни деревьев.

Есть черный дрозд в Туркмении, его зовут майна; он поедает саранчуков. Через несколько суток он уже не ел, а только лупил в голову ползучую беду, подчиняясь таинственному инстинкту птичьей ненависти. Время от времени он с распушенными крыльями бросался в воду, чтоб смыть с себя липкий сок своих жертв, и снова вступал в ожесточенную драку. Ну, вот майна исчез, майна бежал ночью; до самого конца туркменского лета никто не видал больше дезертира. Итак, дехканам приходилось защищаться самим, но дехкане бездействовали.

Пользуясь первоначальным испугом, муллы сеяли смятение по аулам.

Они спрашивали:

— Вот летит саранча. Что написано у нее на крыле?!

Они отвечали сами, ибо никто кроме них не понимал небесного писанья:

— Гостя бога и смерть за смерть. Не убивайте летящих! Пророк сказал:¹ „Может быть, вы чувствуете отвращение к чему-нибудь, а оно оказывается для вас благом!“

Они спрашивали:

— Вот летит саранча. Что потом?

Они отвечали сами и с поспешностью, потому что быстрое слово труднее уловить чужому уху, на котором лежит зеленый отсвет пограничного околыша; многие пограничники, в особенности из тюркских нацменьшинств, понимали полуродной язык Туркмении.

— Потом придут мыши. Потом набегут кабаны. Потом ворвется Баче-Сакао и заберет все. Так велит бог.

Иногда они прибавляли для пущего устрашения:

— Дом насилия будет разрушен, хотя бы он был домом Милосердного; кровь злодея будет испита, хотя бы она текла из сердца Милосердного!

Никто не разумел, кощунство ли отчаянья или мудрость спокойствия копошится в их расслабленных устах; тем зловещей перед лицом такого бедствия звучало имя Милосердного.

Население бездействовало, а людей на местах не хватало, а способы борьбы были еще не проверены. В Джанаязы поджигали керосиновые тряпки и, подобно неводу, волокли их на веревках через самую гущу наступающей кулиги; величественное зрелище таких подвижных костров иногда дурно действовало на общее самочувствие насекомых. В Сахар-Камаклы пытались применять опрыскивание горючими смесями; ночами

¹ - Коран, 2, 212.



чрезвычайно тешили глаз эффективные струи жидкого огня и прыжки пылающих саранчуков, но до Баку было далеко, а зараженные поля велики. В Маматани саранчу заливали кипятком, в Карамелаке ее укатывали шоссейными катками, в Хамарли просто топтали ногами. В Хатыб-Куле к районному чусару явился неизвестный забулдыга русского происхождения, бежавший по его словам от фининспектора, и предложил за одну бутылку водки передать секрет поголовного уничтожения саранчи. Чусар тосковал от бессилия, чусар решился на потерю, и тогда забулдыга посоветовал мобилизовать мушиные листы по всему Союзу республик и, предварительно замочив их на плоских блюдечках, выставить перед самыми кулигами. Как ни странно, сумасбродная эта идея имела свои следствия. Чусар испробовал приманку из парижской зелени, патоки и извести. Саранча отменно дохла, пока имелись припасы, а другого выхода забулдыга не успел изобрести: его настиг все-таки московский фининспектор...

Сводки, продолжавшие поступать в штаб чусара, содержали мало утешительных известий... Оазисы Туркмении почти сплошь расположены по ее границам; зараженные места заливались на карте жидким акварельным кармином; к началу июня вся Туркмения оделась в яркорозовый воротник.

Самые сводки в особенности интересны были тем, что отражали личность того или иного корреспондента:

„Из Кара-Кумов. Саранчевая. Медленно движется желтая и большая имаго, по фронту в четырнадцать километров“.

„Из Сурназли. Саранчевая. Копия ГПУ. Уничтожено тридцать процентов хлопчатника. Десятый раз требую патоку, лопаты, парижскую зелень. Близится линька во второй возраст“.

„Из Аликадыма. Саранчевая. Седьмые сутки движется саранча среднего роста и чуть постарше“.

„Из Аджи. Саранчевая. Прилетела. Плотность тридцать пять на квадратметр. Наблюдается весьма энергичное спариванье“.

„Из Серакса. Саранчевая. Осела на площади в шестьдесят три квадратных километра. Закладывает кубышки. Ждем, что будет дальше

„Из Каяклы. Саранчевая, вне очереди. Настоящим доношу, что здесь заражено восемь тысяч гектаров, а плотность отложения две тысячи на метр. Ведем точный учет. Выпускаем стенгазету „Красный саранчист“. Чувствуется недостаток в канцелярских принадлежностях”.

„Из Пулихатуна. Саранчевая... Уничтожено посевов тысяча пятьсот гектаров. Разбросанность кулиг и политическая контрагитация ишанов очень усложняют борьбу”.

„Из Хатаб-Куль. Саранчевая. Идет—конца нет. Посевов больше нет. Припасы все вышли. На отряд осталось три рубля. Ест даже веревки и кошмы. В клубе коммунальников съела занавески. Имеются больные. Предлагаю бросить воинские части”.

„Застава Ишхак. Саранчевая. Шесть тридцать утра произошел пролет кулиги северо-восточном направлении. Летела с Андхоя четыре часа тридцать две с половиной минуты. Окраска буро-розовая “.

„Из Мюлк-Тепе. Саранчевая. Все покрыто саранчой. Кажется, она спит”.

И последняя была от Маронова:

„Кендерли. На вверенном мне участке саранчи нет”.

Так судьба обходила Маронова.

Установилось ленивое благополучие. В низких кендерлийских пригорьях щедро доцветали тюльпаны. Вечерами, едва прохлады, красные эти долины чем-то болезненно напоминали сумрачные скалы Новой Земли, облитые такою же, но только осенней ползучей пестрядью. Он бродил много, до одури в ногах, часовой еще не осажденной крепости, и зачастую это доставляло ему скрытое удовлетворение, как при посещении места, где гибели однажды удалось противопоставить мужество. Часто, усевшись на вершине, он безотрывно глядел на скудное

афганское многохолмие, за которым ближе, чем до родины, лежала непостижимая и родная Индия. Так сиживал он до луны, до шакальего воя и, думая о разном, научился ненавидеть свое знание, мешавшее ему постигнуть хотя бы ту же самую Индию сегодняшнего дня.

Однажды он понял, что человеку его склада вредно оставаться подолгу наедине с собою. Маронов пошел к людям.

Вправо, на отлогой, слабо волнистой равнине помещалось становище джемшидов; кто знает, каким ветром закинуло их сюда из-под Кушки! Тут богато произрастало азиатское подобие тульского медвежьего уха и ползали черепахи. К нему приходили ребята из аула с огромными букетами тюльпанов, дети, но уже в белых чалмах—соллах, и такие же бездельные, как их отцы. Один из них искусно напевал что-то по-фарсийски, а другой, постарше, подражал голосом дутару и даже помахивал рукой над букетом, воображая струны, которых не было. Так и играл на одних тюльпанах, и когда его горловая, взводистая песня бывала закончена, букет изнашивался вконец. В общем Маронов начал даже как будто полнеть.

Бреясь, иногда он издевался над собой тоном Якова:

— Наверно теперь, Петро, ты уже любишь пилав из кур и грубого слова боишься больше, чем вшей!

Однако он успел провести кое-где канавы вокруг Кендерли и даже пытался создать рабочий отряд на всякий случай, но работа в значительной мере затруднялась незнанием языка. Однажды он собрал митинг и больше часа распространялся о том важном, что волновало всю трудящуюся массу страны. Шестьсот туркменских папах, раскинутых там и сям под гигантскими купами тутта и арчи, слегка покачивались в знойных дуновеньях. Глубокое бесстрашие тысячи мужицких глаз бесследно поглощало его задор, его взрыв, его волю. Никто не пожелал высказаться по затронутым вопросам, не противоречил никто. Кендерлийский оазис был из богатых; тут созревала великолепный хлопок, каракуль, шерсть, а по коврам

Кендерли мог тягаться даже с Пендэ, родиной знаменитых ковров и не менее прославленной язвы. Новая власть не успела еще пресечь влияния мулл и баев, советовавших молчать во всех случаях советской жизни.

Маронов сердился:

— Ашир, они глухие? — вслух кивнул он на безмолвных зрителей, как будто ожидавших от него еще добавочных каках-нибудь развлечений.

— Они не понимают твоего языка! — уклончиво сказал пред-аулсовета, поковыривая палкой истрескавшуюся землю.

Кричали ишаки, и откуда-то приходил надоедливый, почти птичий писк кыджака, туркменской скрипницы с желтым, как у фаланги, брюшком; Мазель показывал ее Маронову по дороге в Сусатан. Вдруг один, ближайший из дехкан, высокий и моложе других, придвинулся к Маронову.

— Дайте мне тут пройти, — сказал он четко и по-русски.

Маронов пристально взглянул в его лицо, но в нем отражалась нерушимая, торжественная лень — и ни озорства в глазах, ни злорадства об удавшемся намеке. Он прошел мимо, посдвинул на брови свой плоский тельпек и невозмутимо воротился к своим.

...тем разительней была перемена. Утром раз — Маронов еще спал, умаявшись с канавами накануне, — к нему ворвался этот самый хитряга в плоском тельпеке. Он бежал и кричал еще на улице; все селение было уже оповещено. И по его искательным рукам больше, чем по лицу, Маронов понял, что судьба повернулась наконец к Кендерли и ее незадачливому чусару.

— Эй, доган, не спи... — Он теребил его, а туркменские слова затейливо путались с русскими; должно быть, гостя бога посетила и его бедняцкое поле, на котором зрел хлеб его семьи. — Чигиртка... эй, доган, делай, делай!

Быстро, насколько мог, ибо парень тормошил его и мешал, Маронов вскинул на ноги тесные свои сапоги и халат Ашира, чтоб бежать вместе с парнем за аул; оттуда вплоть до самой

пустыни простирались обарыченные пространства. Все поле, насколько хватало взгляда, двигалось, и на скатах арыков, где мельканье хитиновых панцирей сливалось в прерывистый блеск, переливалась как бы живая волна. Маронов вздрогнул и бесстрашно вошел в поле, а парень остался позади, в ожидании, что вот европеец произнесет свои заклятья и скверный, затянувшийся сон сгинет, а утро снова будет прекрасным, как в первые сутки творенья. Забыв про него, Маронов пугалом стоял посреди кулиги, в оцепенении, подобно тому, какое уже испытал однажды сусатанский пограничник. Насекомые, не замедляя хода, всползали на него, и, будь он ростом в километр, они одинаково добрались бы до его макушки. Так одну часть материи гнала крутая сила племенного расселения, а другую удерживала на месте озлобленная воля.

Маронову была знакома безнадежность тысячеверстных снегов; он ходил на медведей и далеко во льды... но там внимание сосредоточивалось в себе самом, а здесь оно расплывалось безрезультатно; доводило почти до иступления это жадное и необъятное множество в серой саранчевой униформе. Привыкнув по обязанности каждый день примечать погоду, он так и не запомнил — светило ли солнце в то утро, дул ли ветер; память сохранила лишь зудящий трепет кожи — прикосновение ползучей гады. Нет, испытание шистоцеркой было сильнее испытания Новой Землей! Он смахнул с себя шевелящуюся, хрусткую, как парча, пелену и нашел силы воротиться шагом назад.

Парень казался разочарованным.

Наступал, согласно профессорским предсказаниям, саранчук первого возраста, только что отродившийся в песках. Кулига шла крайне разреженной, на метр их приходилось не больше полусотни; это было по существу лишь авангардом тех полчищ, которые готовились выступить на штурм Кендерли, и кроме того накануне их сильно побило задувание песков, обычное в пустыне. Весь тот день, лишь с двухчасовой передышкой

на полдневную жару, когда на шистоцерку нападает тепловое угнетение, работал мароновский отряд. Глубокие канавы, защищавшие хлопок Мазеля, к ночи были наполнены доверху. Их закидали песком, притоптали и уже при фонарях рыли вторую цепь окопов; к рассвету они успели сделать только треть того, что было ими сделано за полторы предыдущих недели. К удаче Маронова, шествие кулиги к полудню совсем прекратилось—кулига растаяла, не докатившись даже до канала, и только слабая вонь из засыпанного рва напоминала призрачную эту победу.

Маронов извещал окружного чусара:

„Кендерли. Саранчевая. Атака первого возраста отбита. Необходимо усиление отряда“.

Акиамов отвечал:

„Ждите батальон Осоавиахима. Шлите трехдневки борьбы“.

Маронов обозлился; самолетные разведки, предпринятые на юго-запад от Дюшакли, приносили невзрачные сведения,— разве не были они известны Акиамову? Южные Кара-Кумы оказались сплошь заражены кубышками; о том же самом сообщал и профессор в сапогах, который, несмотря на свою астму, целыми неделями шнырял по пустыне, вынюхивая что-то из барханов; он много помог делу, это была какая-то неукротимая саранчевая смерть в сапогах-самоходах, может быть, он старался доказать республике необходимость своей науки?.. При установленном стремлении всех прямокрылых к северовостоку, Дюшаклинский оазис в самом недалеком будущем становился плацдармом неслыханных сражений с шистоцеркой; в случае поражения под удар становилась вся правобережная часть Узбекистана. Все новые кулиги вступали в эту неравную игру; их головы, пятнистые и скрюченные, как лапа бухарского эмира, уже поднимались над Аджи, а хвосты их еще терялись в Афганистане. У сусатанского пограничника выработался особый лаконический стиль: летит, жрет, спаривается,дохнет, линяет, отрождается. Возрасты перепутались, и это также

замедлило борьбу, ибо различие их соответственно меняло оружие республики. Первый возраст требовал опылителей, последующие—канал и железных барьеров, а лётная—отравленной приманки. Практика выработала точнейший рецепт смерти—жмыховая мука, мышьяковистокислый натр, вода.

Штаб верховного чусара начал стягивать силы под Кендерли, когда Маронову уже и злиться надоело. Акиамов замыслил превентивное наступление в пески. Главный удар предполагалось вести клином от Кендерли на Сухры-Кул, с расчетом взять отродившиеся кулиги в кольцо и очистить треугольник пространства, образованный этими двумя пунктами и горько-соленым колодцем Ельгин-кую. В развитие этого плана во всех крупных приречных центрах спешно создавались материальные базы, но пополнялись они туго. Все, присылаемое от главного штаба, мгновенно рассасывалось по районам, и создание сколько-нибудь устойчивого запаса оказывалось невозможным. По смете Маронова и расчетам неугомонного профессора, который к этому времени уже сменил сапоги на легкие спортивные туфли, для наступления требовался минимум в тысячу триста человек, четырнадцать тонн мышьяку, двенадцать тысяч кольев и шесть тысяч железных щитов, посредством которых шистоцерка загонялась в ловчие траншеи. Высшая власть забронировала за Акиамовым свыше четырех тысяч листов оцинкованного железа; Акиамов упирался на своей цифре, и телеграммы его стали походить на постукивание кулака по столу; тогда, несмотря на протесты местных коммунальных хозяйств, объявлена была мобилизация всего вообще листового железа в Туркмении...

Нехватало ни жмыховой муки, ни ядов; республика не обладала достаточным запасом мышьяку, чтобы умертвить все прямокрылое население пустыни. Чтобы истребить десятки миллиардов саранчуков, следовало прежде всего накормить каждого из них до смертного отвалу. С севера, из всесоюзного центра, спешили эшелоны всякого добра... но Акиамову

одставалась лишь пропорциональная значению Дюшаكلي часть их. Все это отодвигало срок выступления, и, несмотря на испытанную партийную выдержку, Акиамов, одновременно с телеграммой Маронова о расширении его полномочий, уведомил верховного чусара, что из-за отсутствия людей и материалов не отвечает за возможность и размеры поражения. Ответом было разрешение мобилизовать горожан, ибо и саранча не медлила...

Потолщение Мароновских щек катастрофически затормозилось, и дело даже пошло в том же темпе на убыль. Яков, будь он жив, опять узнал бы в Петре того яростного охотника, в самоедском совике и пимах, который делил с ним скудный хлеб и новоземельскую участь. Не дожидаясь часа, пока орава сама нахлынет на его твердыни, Маронов разбил свой район на участки по две тысячи гектаров, придал каждому отряду по инструктору и распорядился о дне выступления. В течение оставшихся полусуток, как и в настоящей войне, было предписано отдохнуть, приготовить снаряжение, которое нужно еще было получить с баз, привести в порядок себя и инструменты, выздороветь — кто был болен, и оставшееся время употребить на то, чтоб хорошенько выспаться перед боем.

А был там один такой молодец, по фамилии Пукесов, тот самый, который ликвидировал саранчу в Каяклы изданием стенгазеты, как раз за это и перевели его к Маронову под начало. Лишенный возможности проявить свою бурную индивидуальность на административном поприще, он, однако, не терял почвы под ногами, и однажды целая очередь кендерлийских дехкан выстроилась на цыпочках перед крохотным окошечком домика, где Пукесов спал с одной из приезжих бабешек. Пукесов не оробел перед скандалом, он уважал физиологию и готов был в любое время пострадать за нее. Всякое случалось в эти упрощенные и шумные дни! Маронов замолчал тогда эту историю и лишь секретно попросил Акиамова не присылать ему более женского персонала ввиду особых

условий противосаранчевой работы. Теперь, в самый канун выступления, Маронов вызвал к себе Пукесова, состоявшего инструктором одного из отрядов.

— Ну, как твоя тетка?—спросил он, осматривая шикарную бороду Пукесова, выросшую чудесным веером и под самым подбородком.—Все лунные ванны с теткой принимаешь?

Пукесов повел глазами; он был красив особой вихлявой красотой; он почитывал Фрейда и нарочно, будучи в отпуску, ставил себе голос, чтоб нравиться начальству.

- А никакой тетки и не было,—изысканно возмутился он.— А если бы и была какая замневеста, то это отнюдь... как- никак, мне еще меньше тридцати,—он испугался Мароновского лица и поспешно прибавил:—даже больше.

— Ну, знаешь туркменскую поговорку: если двое скажут, что ты пьян, - ложись в постель,—улыбался Маронов.—Так вот, велю: завтра в шесть идите в Кара-Кумы. Участок ваш на тринадцать километров к югу от Сухры-Кула. Езжайте и орудуйте!

Пукесов мигнул, как бы говоря: ладно, крути, от беспартийного слышу!

— Знаете, главное дело и бабцо-то пустяшное.— Он не прочь был, видимо, сообщить имя и адрес своей партнерши; еще недавно он не удивился бы такому же предложеньицу от своего подчиненного. Но начальство молчало, и Пукесов разумно свернул в сторону.—Кстати... я хотел поговорить с вами, товарищ Маронов. В учрежденьи, когда выделяли меня на саранчу, говорили—правда, довольно смутно—о командировочных и сверхурочных. Я просил бы вас, товарищ Маронов, подтвердить мою работу у вас в отряде... там накопилось уже достаточно!

— Вы удивительно аккуратны, ничего не забудете,—сквозь зубы сказал чусар и подумал, что если он сейчас же, немедленно, не плюнет Пукесову в физиономию, то ему придется каяться весь век. Губы его скривились.

— ...Вы не идете завтра в Кара-Кумы, товарищ Пукесов. Двадцать суток ареста.

Тот уходил почти веселым, этот прохвост. Утробный инстинкт подсказывал ему, что поход в Кара-Кумы—это не прогулка на пикник, даже не экскурсия в скучнейший музей, пешком и в сопровождении лектора в толстовке; он имел точное представление о Кара-Кумах этого времени года, и оттого он и под арест-то сел как-то уж слишком незамедлительно; он готов был ласкать казенную, воображаемую кстати, решетку, из-за которой не в праве был его вырвать даже этот несколько вспылчивый чусар

Так, с применения пятьдесят шестой статьи Уголовного кодекса началась та деятельность Маронова, за которую он получил прозвище неистового чусара,—аляли Маронов.

Он прогадал все-таки, сердцеводец Пукесов. Маронов раскаялся в своей жестокости, и на рассвете, разбудив арестанта, красноармеец вручил ему, потрясенному, лопату и флягу: Пукесов отправлялся в пески рядовым рабочим отряда. Еще в большей степени, нежели яды и железо, ощущалась нехватка в героях и статистах для этой трагической эпопеи. Огромная протяженность саранчового фронта требовала целых полков, а республика располагала лишь полудобровольческими ротами. Самые условия момента вызвали к жизни те чрезмерные меры, которые не применялись со времен гражданской драки, и только они помогли Туркмении защитить свой труд и насущный хлеб.

Вслед за шестидесятипроцентной мобилизацией областных профсоюзов на фронт были кинуты безработные и торговцы; большинство этих последних немедленно объявилось кишечными больными, но Акиамов пригрозил, что будет им вставлять желудочный зонд для проверки, и это психологическое лекарство излечивало самые застарелые колиты в кратчайший срок. Рынки опустели, со складов сняли сторожей, но и красть было некому. Верховный чусар, наделенный соответственной властью, разрешил призвать и учительство. Словом, к середине лета

в противосаранчевой армии так или иначе находились все— кроме милиции, уголовного розыска, смены рабочих на электростанции и еще боенских рабочих; могучий невод мобилизации не пощадил даже аптек. Пограничные части с самого начала кампании вели всю информационную работу по расположению и передвижению кулиг, но все чаще теперь комбригу Туркменской поступали телеграфные просьбы выделить то сорок, то вдвое красноармейцев на ликвидацию прорывов. Рабочий день удлинился на два часа, отпуска были приостановлены, в исполкомах велись дежурства круглые сутки, и никто не удивился бы в тот месяц декрету, что и черная туркменская ночь отменяется отныне.

Не щадя себя, Маронов не щадил и людей, лишь бы заткнуть во-время эту саранчевую хлябь. Бойцы отправлялись в зной с двухведерными бочатами, которые рассыхались тотчас же по опустошении; Маронов взял на учет все бурдюки в округе и уже протягивал руку за глиняными кувшинами дехкан. Даже и во сне слышался ему этот хриплый шопот живых: „Воды, Маронов, воды, дьявол"... Он добился у Акиамова позволения обязать каждое дехканское хозяйство доставить ему по фунту выкопанных из земли кубышек. Сверх того в кооперативах, где сразу удесятилось количество товарных соблазнов, была объявлена покупка кубышек по четвертаку за килограмм. Их жгли на глинистом пустыре, обычном туркменском такыре, и при удачном ветре далеко в пустыню стелился густой смрад горящего саранчёвого жира; Маронов, не зарывая кубышек, надеялся этим удушьем хоть немного задержать кулиги, уже подступившие к кендерлийским горизонтам. Он не боялся, что его сместят за превышение полномочий; всякий на его месте, менее неистовый, попал бы под суд за бездействие власти.

На Кендерли глядела вся республика, это был саранчевый Верден того года. Маронов беспрерывно находился в разъездах и ночевал почти в седле; он ездил и мобилизовал все, что

видел. Стоял верблюд, и в прохладной его тени, как в тени дерева, сидел человек и уплетал лепешки. То был джерчи, туркменский коробейник; он вез с собой незатейливый товар пустыни—керосин, финики, курагу, нас-каяды и пиалы, которые не успел распродать из-за саранчи. Маронов складывал его сокровища под навес, а самого усылал с лопатой и собственным верблюдом туда же, откуда тот возвращался. И еще там, случилось, проезжал непостижимый человек в плюшевых штанах, которыми он производил на всех неизгладимое впечатление.

— Кто вы?—строго спросил чусар, просматривая неопределенный документ с печатью рабиса.

— Я?.. артист.

— Что вы делаете?—щурился чусар.

— Кто, я?.. финская и греческая пирамида с имитацией огней, а также световой баланс с кипящим самоваром на лбу. Я, так сказать, единственный в этом роде!

— Меня распирает любопытство,—сказал чусар, надписывая что-то на бумаге.—Я никогда не видел баланса с кипящим самоваром. Вы не кишечный больной?

— Я?.. н-нет,—сказала жертва, озираясь и уже без прежнего достоинства.

— Как вы относитесь к советской власти?

— Кто, я?.. разумеется, хорошо.

— ... а к саранче?

— Я?.. разумеется, плохо.

— Другого я и не ожидал от вас. Артисты, знаете, всегда шли впереди. Мы живем в век героев, не правда ли?.. сегодня в четыре вы пойдете к колодцу... вам скажут его название потом. Сегодня у нас вторник? Значит, имаго можно ждать только дней через пять. Вы вполне успеете. И потом, пожалуйста, обратите внимание, сколько занимает времени этот процесс последней линьки перед окрылением. Мне сообщили—три четверти часа, но это невероятно. Ей же надо перевер-

нуться, расправить крылья... Мне казалось, минимум—часа два-три. Итак, успеха, товарищ!

— Я буду жаловаться...—неожиданно заорал человек в плюшевых штанах.

— Вас посылают не диких ослов укрощать, а просто рыть ловчие канавы. К тому же личная моя просьба совсем необязательна.

— Да... но я же не солдат, а артист!—смутилась жертва.

— Я и сам в душе артист, но это почти неизлечимо. Не надо ссориться людям, столь близким по склонностям,—жестко улыбнулся Маронов и вдруг рявкнул:—Стыдитесь, товарищ, ступайте!.. там не убивают!

Он был зол, он был даже яростен в этот день—Маронов; втайне он несколько пугался обстановки, в которую попал. Помимо сил явных, стихии и людей, вокруг него действовали незримые политические силы. То дехкане, на убеждение которых он тратил недели, оказывались размагниченными в сутки; то таинственная рука снимала цветные флажки, которыми он размечал зараженные или отравленные пространства; то, хотя и в малых количествах, пропадал яд, предназначенный на шистоцерку... Когда в соседнем кишлаке при весьма завуаленных обстоятельствах умер больной дехканин, тот самый, который в памятный день приезда встретился Маронову на берегу Аму, чусар нарочно поехал туда на вскрытие; он знал наверняка, что встретит и его юную жену. Вскрытие происходило в ковровой мастерской; на станок уложили доски, но получился наклон, тело сползло, а врач торопился. Маронов удалил из мастерской всех, кроме голосившей кучки родных, которых сюда пригнало, повидимому, более любопытство, чем горе.

— ...отравление мышьяковистым натром. Характерное изъязвление стенок желудка,—тихо сказал врач.

— Но они кричат, что он умер от порошков, выданных с вашего медпункта!—повысил голос Маронов.

— Чего вы сердитесь?—устало пожал тот плечами.—Мышьяк был примешан в порошки... тут и догадываться не о чем! Я уже смотрел эти порошки, товарищ.

Острая догадка вошла в Мароновский разум; обернувшись, он внимательно поглядел на молодую жену покойного, стоявшую позади и кричавшую больше всех; он смотрел долго, и неискусные слезы ее мгновенно высохли, а следом за нею умолкли и остальные.

Маронов понял: она и при жизни не особенно любила мужа! Ему оставалось только неясным: почему она просто не отравила ему воду, его хлеб... почему ей понадобилось свалить смерть мужа на советские лекарства? И вдруг ему в память пришли рассказы Мазеля о классовой борьбе и расслоениях, объясняющие все, рассказы, на которые он усмехался тогда с недоверием беспартийного. Он вспомнил собственный свой опыт в Кендерли, при мобилизации ишаков для противосаранчeveго транспорта, когда его встречали выстрелами в байских воротах, и гадливо усмехнулся неуклюжей хитрости, которою обходил его враг.

Он возвращался шагом и все дивился, как не надоумилось байство отравить колодцы пастухов, потому что бочки с ядом зачастую стояли открытыми; он возвращался шагом и только поэтому опоздал к скандалу, который в его отсутствие разразился в Кендерли.

Улицу запрудилa толпа, молчаливая и настороженная, а в центре ее кричал что-то невысокий коренастый красноармеец, туркмен-теке, один из присланных сюда по разверстке. Чусар слез с лошади и протискался в людскую гущу, тотчас сомкнувшуюся за ним. Было не трудно догадаться: в руке красноармейца еще дрожала змееподобно ременная камча, а на земле, хныкая и закрыв лицо руками, сидел старый кендерлийский мулла. Заслышав нового человека, он приоткрыл свое круглое и рябое, как наверно у Евы в старости, лицо и осторожно подвинулся, давая место чусару.

— За что ты ударил старика?—спросил Маронов и тотчас с укором подумал, что такого вопроса и при таких обстоятельствах не задал бы партиец.

Тот страдальчески взглянул на него красными и выпученными от трехдневной бессонницы глазами; он устал до такой степени, что уже не мог сопротивляться чувству гнева и мщения; он устал так, что даже и его красноармейская сила поколебалась. Он возвращался из Кара-Кумов спать, а этот...

— ...Он говорит—у нее на крыльях молитва богу. Я грамотный, я читал книги. Я убил ее тысячу тысяч... я не видел. Где, где она?!..—и, оторвав второе крыло у саранчука, который еще двигался в его судорожном кулаке, размахивая им над головой муллы, он сказал: „Не надо, не надо убивать". Он сказал: „Нет прощенья похли!“ Пусть он не говорит так, пусть...—Дальше он кричал уже по-туркменски, и никто даже взглядом не вступился за неудачного и поверженного агитатора.

— Успокойся, Мамед,—сказал Маронов, дружески касаясь его руки.—Ты очень устал, тебе надо много спать. Пойдем, товарищ!

Он уложил его у себя; тот заснул еще сидя, не раздеваясь. Потом он лежал с откинутой головой, совсем как брат Яков, но когда он уже перестал быть и братом и Яковым. Только камча, свисавшая с Мамедовой руки, время от времени шуршала бредовым шопотом о цыновку. Маронов вышел убрать свою кобылу. Улица была пуста, задувал „афганец". Скуля и раскачиваясь, все еще указывал рукой в сторону Афганистана промахнувшийся служитель бога и бухарского эмира.

Итак, все были на своих боевых местах—трусы, духовные лица и безыменные герои этой беспримерной схватки. Некоторое время спустя зашевелилась и недвижимая глыба туркменского дехканства, темная, как все мужики мира. Мароновская агитация постепенно становилась излишней: сама опасность придавала им упорства и доблести; гостя бога выжидала наголо человеческие житницы, и в случае неудачи Туркмения

была бы откинута на целую трехлетку назад. За полтора месяца кендерлийского существования Маронов лишь дважды встретил туркменских женщин, но именно женщины подносили теперь воду отрядам, и мужья молчали. Несмотря на различие языков, они быстро научились именно с тем наклоном расставлять щиты, чтоб не уполз ни один. Они постигли даже высокое искусство—рытье ловчих окопов в песках, где и от верблюда-то не остается следов. Они провели защитные линии от Карабекаульского района до самого Сусатана; фронт растянулся на сто тридцать километров.

Песок оставлял ожоги, разъедал глаза, и трещины на руках гноились. Лошади гибли от тепловых ударов и безумели, когда в уши им заползали саранчуки. Акиамов запрашивал всюду о наличии лошадиных шляп, но таковые в республике не выделялись. Уже не узнать было никого из тех, кого совсем недавно с музыкой провожали в поход: изнеможденные люди, почти головни, в одних трусиках месили отравленное тесто—руками; изъязвленная кожа кровоточила, в паху появлялись болезненные волдыри. Вместо недостающей жмыховой муки замешивали местную степную растительность, которую надо было собирать самим. Не было воды; тухлую, ее давали по скупой норме, но ею изобильно поливались ямы, потому что приманка должна быть влажной и приятной на вкус. Люди падали, отказывались есть, спали на земле, у самых кулиг, дрожа от жесточайшей вони,—убитая саранча продолжала воевать своим смрадом. Люди шатались в уме: осатаневшего чусара Каяклы посетила безумная мысль—взрывать саранчу динамитом, а старший рабочий сухрыкульского отряда стрелял в летящую саранчу из нагана. Кое-где появился сыпняк, неслыханная земляная вошь, люди выдыхались, их мозговые манометры грозили лопнуть, и все же отряды находили силы устраивать социалистические субботники по борьбе с саранчой, которая опережала... О, этот кендерлийский хаос, не воспетый никем из драчливых наших стихотворцев, и людские

муки, за которыми, как за надежной стеной, невинно зацвёл Мазелев хлопок!

Маронов истаял на этой жаре; его лицо похудело и стало походить на лицо саранчука; ему казалось, что глаза у него стали членистые, он видел даже позади себя; при некотором усилии он мог бы пострекотать усами. Мазель, который не вытерпел и приехал в конце месяца, бросив все, не узнал его сразу. Увитый табачным дымом, Маронов стоя составлял энтузиастическую телеграмму, — этот стиль уже помог ему однажды получить полтонны мышьяка свыше нормы. Мазель жал руки, испытующе заглядывал в глаза; сам он окончательно пожелтел в этот месяц, и веснушки его оставляли такое впечатление, точно его во сне засидели мухи.

— Ну, согрелся?.. доволен Азией? Устал, так я заменю тебя, а?

— Рано, Шмель, пока рано...—и сделал неопределенный жест, как бы говоря: э, дескать, верблюд в пустыне не пропадет!

— Кажется, у тебя с хлебом трудно?

— Ничего, Шмель, ничего... — Он закончил наконец свое донесение и покрутил пальцами, затекшими от карандаша.— Вот, расписываю героину. У нас без романтики фунта формалину не достанешь. Что нового в мире, Шмель?

— Что? В Индии бастуют. Потом нас выгнали из Англии.. видимо, обиделись на советскую нефть. Мобилизуем граждан: учреждения высвобождают своих, дерутся даже за машинисток, врача одного привели с милицейским конвоем, э-эх дерьмо!.. Да, кстати: саранча появилась на Крымском побережье и прорвалась в Поволжье.

— Это через Ташауз, значит? Здорово сигает... — Он помолчал, а Мазелю показалось даже, что он задремал. — Кубышки зимуют?

— Не знаю, ты спроси свою науку в сапогах.

— Э, она там... увлекся. Русские любят досконально истреблять!

— Да, любят, ну... а хлопок?

— Стоит, Шмель, стоит.

— Но саранча ведь...

— Она кушает пока верблюжью колючку. Я запретил убирать ее с пустырей и меж. Хочешь взглянуть?

— Поедем...

...Копыта тонули в густейшей пыли. На шее смыкалось горячее удушье: солнце садилось, и встречный зной становился невыносим. По сторонам дороги бежали заброшенные арыки, истрескавшиеся, как в склерозе. Изредка встречался какой-нибудь старик на ишаке и торопился проехать мимо прищуренных Мароновских глаз.

— Далеко еще?—спросил Мазель.—А знаешь, ведь тут Ида! Она в отряде...

— Как же, слышан, —сухо ответил Маронов и так долго закуривал папиросу, что всякий другой счел бы это за обидный намек.

— Я, кстати, привез тебе папирос, которые обещал, - сказал Мазель, чуть приотставая.

— За папиросы спасибо. Так... Ну, а что теперь пишет сусатанский пограничник?..

Дорога, если можно так назвать расплывчатое обилие следов, то проваливалась между горных барханных гребней, то поднималась на округлые, подковообразные плато, заросшие иляком, селином, отцветшим маком. Изредка на раздутых местах проступали лысины красноватой глины, а потом опять, лишь в новых сочетаниях, набегали карликовые подобия саксаульных рощ.

— Я покажу тебе, Шмель, удивительные штуки, а прежде всего—людей. О них надо судить именно, когда они страшны, небриты, осатанели и делают всемерно против своих сил... И потом: у нас любят кричать о гороизме, а по-моему это следует делать молча, со сжатыми зубами. Перед кем хватать! Старое не переубедишь, а молодое... я крепко верю

в свое поколение, Шмель. Достоинства больше, товарищи, достоинства!

Мазель не возражал только потому, что сегодня именно так было полезнее для общего дела; он только дивился Мароновской способности переключаться так быстро с одного на другое. Это состояние легкого ошеломления, смешанного с гордостью за свое поколение, не покидало его до самой ночи. Маронов действительно показал ему незабываемые вещи, которые и его самого неизменно заводили в логические тупики. Что двигало этими рассеянными на вид людьми—азарт, безумие, идея? Так он мучительно догадывался о том, что Мазель знал давно, крепко и на всю жизнь.

Они объехали много в тот день; Мазель извивался в седле, точно пронзаемый гвоздями; они объехали фронт только двух кулиг. Первая линия во второй возраст; бойцы получили два часа сроку—развести костры и покоптить над ними походные котелки: им как будто вовсе и не хотелось спать. В застылой, хрупкой, как эмаль, тишине пустыни с легким шелестом возникал саранчук: и в темноте они продолжали лезть из тесных шкурок.

Вторая кулига была много старше; ее уже томила мука размноженья. Кулига растворялась в темноте. Мазель слез с коня и, слегка похрамывая, пошел к кусту, который бесформенно громоздился посреди ночи. Наклонившись, Мазель долго рассматривал его, то и дело зажигая спички.

— Слушай, Маронов, а почему однако они сидят одна на другой?

Маронов вздрогнул и, как ни угнетала его потребность сна, рассмеялся.

— Ты удобный муж, Шмель. Ты и увидишь, не поймешь... Слышишь, слышишь похрустыванье? Это любовь, Мазель. Никто из влюбленных никогда не имел такой обширной кровати. Миллиард романов с благополучной развязкой... нет, не совсем так: отложив кубышки, онидохнут. Их можно убивать, они не слышат. Они спариваются и ничего не едят.

— Нет, едят, глядите, прямо с руки едят!— сказал смешливый голос вблизи них.—Ишь, ужинают...—И голос задрожал от нездорового возбуждения.

Они увидели человека, сидевшего на корточках; несколько безмолвных зрителей, обступив кругом, наблюдали его редкостное развлечение. На его ладони лежал комок отравленного теста, раскатанный в рыхлую, длинную колбасу; три саранчука, не пугаясь растопыренных пальцев человека, тихо по жирали яд.

А, это вы! — сказал Маронов, подходя. — Почему же все-таки... Приманку раскидали?

— За одну ночь намесили двести пудов.—Он напрасно ждал одобрения от Маронова.—Она уже съедена вся...

— Ну, и... это благоприятствует любви?—едко усмехнулся Маронов.

— Отравы нехватило, товарищ чусар. Мы все туда соскребли, мало. Очень медленно действует... но ножки все-таки мертвеют, видите? Глядите, какое у них лицо скучное! Они все равно не успеют... не успеют они, понимаете? — Была какая-то психическая судорога в его речи.

— Да, да,—сказал Маронов, мучительно распяливая глаза, которые катастрофически смыкались; он не видел почти ничего.—У вас завидное зрение, да. Кстати, вы не знакомы? Знакомьтесь: Мазель—Пукесов.

Кормитель саранчи мгновенно приподнялся:

— Простите, не могу... пальцы липкие!—прошипел он и вдруг исчез, истаял, рассыпался, а может быть его вместо отравы сожрали саранчуки.

Мазель так и стоял с рукой, по-детски протянутой вперед. И великий хитрец, Петр Маронов, взял его под руку и пытался вести назад, полагая в простоте душевной, что Мазель ничего не знает, не видит, не чувствует.

— А Ида странная женщина?.. У нее странный вкус, правда, Петр? То Яков, то Пукесов теперь!—сказал Мазель, осторожно

высвобождая свою руку из мароновских клещей.—А ты ужасно зоркий, Петр... ты уж все увидишь!

Они вернулись поздно. Мазель едва держался на ногах и утром, проснувшись, нашел записку Маронова с просьбой ждать его возвращения. На рассвете, пока Мазель спал на ашировом халате, чусар собрался навестить тот участок кендерлийского фронта, где линию траншей заменял непосредственно самый канал. За это наиболее ответственное место Маронов опасался более всего: по ту сторону канала располагалась самая цветущая часть Дюшаклинского оазиса.

Здесь в особенности густо, по несколько сотен на метр, наступали кулиги. Неделю назад в этом месте произошел не крупный прорыв, но залатать его так и не удалось. Саранчук четвертого возраста штурмовал в неслыханных количествах; канавы, на рытье которых ушло по шести часов, наполнились в несколько минут доверху; их не успели даже засыпать землей, как наполнены были два последующих ряда траншей. Тогда саранчу пришлось пустить в самую воду и одновременно отозвать от Сухры-Кула надежную роту Осоавиахима. Саранча поплыла вниз по течению, до запруд, расставленных на некотором расстоянии друг от друга, под углом к берегу. Здесь ее еле успевали ловить в корзины и мешки, полуутопленную, и торопились зарывать эти скрежещущие живые клубки в ямы. Часть уходила, сушилась, оживала,—ее не преследовали...

Инструктор встретил Маронова на мосту и с таким лицом, точно пускался в рукопашную:

— Железо... какое железо, дьяволы, прислали! В девятнадцатом за такое издевательство... знаешь, знаешь?

Маронов сочувственно кивнул головой: неоцинкованное железо быстро ржавело, и по шершавой ржавчине щитов саранчуки без особых усилий перебирались на другую сторону...

— Как дела, товарищ?—спокойно осведомился Маронов, не выпрыгивая из седла.

— Как? А приходится оттирать каждое пятнышко песком, руками, а вздышки не даете. Я не отвечаю, не отвечаю, не отвечаю...—и рот его запрыгал, как лягушка, по всему лицу.

— Значит, в республике нет больше оцинкованного,—еще тише сказал Маронов, все еще не слезая с лошади.—Не размахивайте руками; это не идет к военной форме, которую вы носите. Как дела?

Инструктор пожевал истрескавшиеся губы; складки, точно углем начерченные на лбу его, исчезли.

— Пешую победил четвертый возраст, товарищ чусар. Потом афганцы из каравана очень просили мышьяку. Кричат: „Советска, и нам дай, и нам...“ Я не дал: нет, да ведь и контрабанда. Поговорка есть: чужому верблюду нет воды...

— Неумная поговорка, товарищ.

— Имеет смысл зато...

Он намекал на контрасты: в Персии и Афганистане шистцеркой было уже уничтожено раз в сорок больше, чем в советской Туркмении: такой темп был бы непосилен никакому другому правительству.

Как вы измеряете эту кулигу?

— Тонн на пять...—Инструктор измерял кулигу весом мышьяка, потребного на ее уничтожение.

— Надо перекинуть борьбу на этот берег.

Инструктор сжал руку в кулак, измученно посмотрел на него и промолвил сухо:

— Слушаю, товарищ Маронов.

— Кто в охране у того моста?

— Этот... как его, Салых. И с ним Фаридалеев, тоже из Кендерли. Там-то спокойно... они на сменку метут!

Маронов вспомнил; это был старый знакомец в плоском тельпеке, и ему захотелось взглянуть на него в новой его должности.

— Я проеду туда,—сказал он.

Дорога проходила самым берегом, а на левом бесконечно наступала кулига. Все там было съедено; черные травы покачивались, тревожимые у корня. Лошадь острила уши и храпела. По желтой воде, слабо шевелясь, плыли черные неторопливые точки; вода вокруг них посверкивала. День выдался неровный; солнце, как в истерике, то сдерживало, то вновь накидывало на себя драную облачную фату. В плохо засыпанных окопах гнила саранча, и сладкая, тошнотная вонь разложения ни на минуту не покидала Маронова. Он перевел было свою белую кобылу на рысь, но та скользила и спотыкалась в скользкой и мертвой корке, покрывавшей землю. Вонь усиливалась, тяжелая и жирная; Маронову померещилось, что даже на ощупь воздух становился маслянистее. Тем ярче вставали в нем воспоминанья суровых новоземельских раздолий и пресного запаха снегов. Сводило с ума и безвременно старило его юность это беспредельное тление. То же самое мудрейшее вещество, из недр которого возникали грозы, горы и ветры, теперь подмигивало ему гнусным саранчевым смрадом... Потом он сразу увидел мост и Салыха перед ним.

Ровными машинными движениями туркмен обметал щиты, укрывавшие мостовой настил. Он был один, Фаридалеева не было с ним; скулы его опухли, сквозь желтую смуглость их проступал зеленый румянец переутомленья.

— Селям алейкум, Салых,—громко сказал Маронов, привязав лошадь на мосту.—Где Фаридалеев?

Тот покосился на него одним глазом; у него не было времени даже на то, чтобы стряхнуть саранчуков, сидевших на его тюбетейке.

— Ушел...—сказал Салых вместо того, чтобы сказать—сбежал. Так, в одиночку, и действовал Салых у самых ворот Дюшаклинского оазиса.

— Фаридалеев—пошли,—сказал чусар.—Давай метлу, я буду теперь... —и принялся мести за Салыха, пока тот, спустившись в канал, жадными горстями ловил мутную саранчевую воду.

Вдруг Салых издал резкий горловой звук, он выражал возмущение. Не прерывая работу, Маронов обернулся к нему, и ему тоже показалось, что камень, на котором стоял туркмен, заметно обмелел; он заметил, но это прошло как-то мимо его сознания, ибо в ту же минуту что-то яростно защекотало у него под рубахой. Он крутил головой, почти свертывая шейные мышцы; спинные мускулы извивались в попытке скинуть заползших насекомых; он не понял сразу даже того простого, что кричал ему туркмен:

— Эй, доган... она уходит, вода... эй, гляди, доган!..

Камень, минуту назад только наполовину вылезавший из воды, теперь целиком лежал на скате и даже успел обсохнуть. Узкую ленту пространства, освобожденную водой, тотчас же занимала саранча. Вода опускалась. Где-то позади произошел прорыв, и подстегнутое воображение мигом представило, как широким бурым потоком вода на десятки метров разворачивает дамбу и ударяет в пески, которые кипят и пляшут. Все меньше саранчуков плыло по воде; они ждали; вода бежала вспять, как трус Фаридалеев. Отдавая метлу назад, Маронов еще раз взглянул на камень: тот медленно полз вверх и уже отделился на полметра от уровня канала. Мысленно Маронов читал бредовую телеграмму, составленную им самим: „...прорыв на двадцать два километра. Дюшакли не существует больше..." Да, он видел испуганное лицо телеграфиста, слышал живую панику аулов, различал презрительное акиамовское „замечательно интересно"; все это проскочило в мгновение и снова застлалось пенным и пьяным великолепием вод, вторгающихся в необозримые приволья. Камень всползал все выше, стремясь достигнуть зенита в мароновском разуме, а канал опустошался, как проколотый бурдюк. И вот, неизвестно откуда, на мосту появились передовые отряды шистоцерки.

Он догадался об этом, едва услышал позади себя безумный топот сорвавшейся с привязи кобылы; ее не догнал бы и ветер. Она крылато неслась к Кендерли и по существу была



первой вестницей случившегося несчастья. Движение воды в канале остановилось, но камень скрылся, облепленный серой шуршливой массой. Обнажилась жирная, тухлая кожа канала; на ней матово сверкала полузанесенная илом жестянка, да еще торчала острым обитым углом крупная чья-то кость. Тощую извилистую лужу, все, что оставалось от знаменитого оросительного канала, вброд переходила саранча... Мароновым овладело неодолимое равнодушие, частично подобное тому, какое он пережил тотчас после похорон брата.

— Садись, Салых...—и показал место рядом на перилах, мимо которых проходили густые колонны на штурм Мазелева хлопка.

Обоим им стало все равно, безумье притуплялось спасительной усталостью; даже если бы у них и нашлись крылья и сила одолеть в один мах двенадцать километров до кендерлийского штаба, все равно не успели бы. Оба они в равной мере сознавали такое же томящее ничтожество свое, какое сломило бы часового, поставленного в одиночку охранять границу всей республики. Из памяти Маронова выпало, что он не один, что где-то бодрствует верховный чусар и уже изнемогает на телефоне Мазель, бежит к своему отряду саперный начальник, трясет хриплую трубку телефона и гремит сам Акиамов, и на автомобиле, сшибая собак с дороги, наверно уже мчится прокурор. Он забыл все...

— Вот, видишь... ты чем занимался, Салых?

— Мы... контрабанчи. Ширази-каракуль знаешь?—и пугливо поджимал ноги, с которых свалились его опорки.

— И дети есть?—А мучила тошнота, как при отравлении табаком, и кружилась голова от безостановочного движения под ногами.

— Э, один... э, баранчук.

Так рядком и сидели, контрабандист и чусар, потому что внезапно порвались все привычные связи, логические и иные, и одна только взрывчатая искра бродила в обоих — сжечь

мост, словно это могло предотвратить прорыв и гибель Дюшакли. Вдруг какая-то спинная судорога вскинула Маронова с места, и Салых со страхом наблюдал последнее беснование чусара.

— Ур, бас... дави ее!—кричал Маронов, без фуражки, которой уже не видно было под саранчой.—Эй, доган, бей... бей!..—и сам показывал, как надо толочь ее ногами, безумными, как челноки.

То была конечная, чисто биологическая вспышка самого организма, может быть, перед тем, как померкнуть совсем. Двое обгорелых людей скакали перед безвестным миру мостом, а саранчевая лава двигалась, и только передние, смущенные нелепым и скачущим топтаньем исполинов, напрасно пытались тесниться и благоразумно раздвоить наступавшую колонну.

В этот день за четырехчасовое дежурство телеграфист пропустил шесть тысяч слов и потом свалился у аппарата.

... Он не терял сознания до конца. Как сквозь дым, он видел людей, которые сменили их на посту. Они спрашивали его, и только дрожь, распространившаяся по всему телу, мешала ему отвечать. На нем разодрали рубаху, приклеившуюся холодной щекотной пленкой, и он усмехнулся на эту помощь. Его посадили под дерево, прямо на песок, и дали воды, но она пахла так же, как все—воздух, одежда и самые руки; он с отвращением выплюнул ее. С ним больше некогда было возиться, да никто и не сумел бы так быстро починить сломавшегося чусара; даже прокурору, когда выяснилось, что прорыв произошел без чьего-либо злого вмешательства, вручили лопату и поставили драться.

Маронов сидел тихо, различая лишь ноги, несравненное множество ног, таких неуклюжих в суматохе, потом ему стало почему-то обидно, но поднялся и, не останавливаемый никем, побрел назад. Струи раскаленного воздуха текли отвесно перед ним, и сам он пошатывался в них, подобно пламени, качае-

мому собственным жаром. Так он и шагал в лохмотьях и чужом картузе, не умея справиться с нервной своей икотой. Это был воистину фронт, с той только разницей, что убитые наповал возвращались сами и пешком.

Навстречу шли люди, верблюды, повозки, отправленные на заделку пробитой бреши. Они не замечали Маронова, потому что он им стал ненужен, и только один со всего маху разлетелся на Маронова; плюшевой обложки на нем уже не было, и оттого трудно было в нем распознать специалиста по балансированью с кипящим самоваром.

— ...Вы только посмотрите, а?—прокличал он фальцетом, пытаясь всунуть какую-то бумажку в обессиленную руку начальника и обскакивая его со всех сторон.—Морду бить надо, морду этим типам... —Потом он заморгал, сжал бумажку в кулаке и произнес одно только слово:—Извиняюсь...

Кулига наступала развернутым фронтом в тридцать четыре километра; окрисполком кинул сюда все свои резервы,—их оказалось ничтожное количество, и тогда по чрезвычайному соглашению властей двинуты были пограничные и саперные части, расположенные поблизости. Температура песка доходила до семидесяти, и никто кроме людей не смел двигаться по этой обширной сковородке. Бой длился до ночи; канавы наливались хрусткой темной гущей, утрамбовывались и снова наполнялись,—так до трех раз. Даже дехкане бежали от поднявшегося смрада; только грозными водоворотами бурь возможно было промыть зараженный воздух. Это был фронт, с тем лишь выгодным отличием, что убитые снова оживали, чтоб продолжать борьбу.

Маронов очнулся четыре часа спустя; его пробудила жажда, во рту не было ни капли слюны, а язык лежал плоско, как покойник. Странные, нечеловеческого размаха и цвета облака горели и дымили на закате, точно политые керосином. Он посидел с минуту, черпая ладонью горячий песок и раздумчиво продавливая его между пальцев. Густая куща саксаула,

свисавшая над ним, показалась ему багровой. Ухватившись за нее, Маронов поднялся, допил воду из фляги и, как в угаре, двинулся назад, на покинутую им позицию,—республике было безразлично в эту минуту, сознание долга или проснувшееся мароновское самолюбие руководило им. К вечеру он добрался до передовых линий; обязанности чусара временно выполнял все тот же профессор в сапогах, „саранчевая смерть"; он стал страшен, летучий профессор,—к астме его присоединился нервный тик. Маронов отыскал себе лопату, но работать не смог, бросил ее и кое-как добрался до ветхой глиняной развалины, из-за которой поднималась луна, пошлая и лоснящаяся, как дека сносившейся гитары. Легкий, обманчивый холодок исходил от нее.

Крыша давно провалилась, и луна черными резкими треугольниками расчерчивала внутренность руины. Маронов вошел и опустился на какой-то боченок, забытый у стены. То, что еще недавно можно было сравнить лишь с костром, теперь представлялось ему кучкой заглохших угольков. Все это было необычайно в эти сутки, и, хотя требовалось величайшее совпадение для этой встречи, он не удивился, когда увидел в тени против себя жену Мазеля. Как и он, она пришла сюда, из жажды одиночества и хотя бы минутного отдыха. Она сорвала с себя платье до пояса и так сидела, откинув голову к стене и зажав какую-то увядшую травинку в зубах; если бы даже сюда вошел ее отец, она не нашла бы силы выгнать его или прикрыться собой. Ее отряд работал без перерыва от полудня до ночи, и жена Мазеля не отставала от мужчин. От женщины в ней не осталось ничего, и нужно было иметь большое воображение, чтобы понять увлечение Якова и его малодушный прыжок на север.

Оба видели друг друга, как в тумане.

Она шепнула, не выпуская травинки из зубов.

— ...уходите.

Он промолчал. Она спросила:

— Есть вода?

— Нет.

В проеме дверей двигались огни факелов. Пламена склонялись, потухали и возрождались снова, менялись местами в волшебном своем хороводе. Там, в зловонном мраке ночи, происходили похороны убитой саранчи.

Мазель спросила:

— Ну... что?

Он не ответил, он не знал сам. Она повторила:

— Ну, дайте воды... пожалуйста.

Воды не было, и Маронов чувствовал себя не в праве выползти из укрытия и выпрашивать воду у людей, которые там, в потрясающем безмолвии, продолжали рыть канавы. Среди его отцветших за один этот день чувств сохранилось лишь одно—злость. „Подруга Пукесова... пусть идет сама!“ И вдруг не глазами, а каким-то вычурным изгибом мысли— он понял, что она голая, почти голая.

— Закройтесь,—грубо сказал он.

— Не приставайте...

— Вы были женой Якова, закройтесь!

Может быть его слова не достигли ее сознания; в конце концов она не собиралась быть женой всех братьев Маронова, какие только отыщутся в мире. Факелы передвинулись влево, и стал совсем неслышен ночной скрежет лопат. Вдруг торопливо, неспгибающимися пальцами, Мазель принялась натягивать на себя платье; она и сама не знала, удалось ли ей это...

Вступая в Азию и входя в Мазелево жилище, он уже создал готовый образ этой женщины; любя брата, он отдал на создание его все лучшее, что имел; но встретить он его ночью, где-нибудь в пивной,—он убил бы тяжелой стеклянной кружкой свое неповоротливое и лучезарное детище. Образ настоящей Иды был умнее хотя бы уж потому, что создан был не фантазией юноши, а стремительной действительностью Мароновского века. Он примирился бы, даже если нашел бы

у нее ребенка, маленького и с мышинным личиком; не имея права ни на что другое, он простил бы ей Якова, если бы в дрянный ребус не вмещалась вихлявая фигура Пукесова. Только юношеская растерянность управляла теперь его речью:

— ...Я не досказал, а вы не стали бы слушать. Слушайте, Яков только половина, но не целое. Другая половина пришла и увидела Пукесова... Шмель был прав: у вас разнообразный вкус!

Усталость мешала ей сопротивляться; он сидел на корточках перед нею, на пыльной тростниковой трухе, оставшейся от хозяев покинутого дома, и говорил, а она глядела, как мелко-мелко колотится во рту его язык, и ей становится еще тошнее.

— ...слушайте у Якова были синие, гнилые пятна на ногах и еще дикая боль, но надо было ходить: это было тоже лекарство. Мы ходили по очереди, а другой командовал и производил счет шагам. Однажды он упал... слышите? я завернул его в одеяло...

Она сжалась, и даже тень ее стала меньше: луна переместилась.

— Я не хочу о мертвых!

— ...завернул и потащил к сугробу, чтоб закопать. Я тащил его по снегу и думал о вас, крепко думал... вы не чувствовали? Потом я прилег отдохнуть рядом с ним, а когда открыл глаза,—катилась волна с океана. Я зажмурился и ждал, что смочит нас обоих, но она рассыпалась в десяти шагах. Мне замочило ноги... что с вами?

— Меня тошнит,—сказала Мазель.

Петр остановился; на мгновение ему почудилось, что, не смотря ни на что, он уважает эту женщину, которой он хотел приписать причину братней гибели; должно быть, в это же время он понял, что Яков, с его непостижимым бегством, стоит не дороже Пукесова, а взлелеянная мечта о сабельных ударах — это тоже юношеский флер-д'оранжевый вздор. Он

поднялся и пошел искать воды; когда к рассвету он воротился с флягой, Мазель уже не было там. Руина стала неузнаваема, а их было там много, целый мертвый городок лежал у входа в пустыню; луна доиграла свой дрянной вальс, и даже боченка не оказалось на месте.

Потом, много спустя, когда Туркмения могла уже спокойно спать свои ночи, Мазель поехал проводить своего гостя, отправлявшегося в обратный путь, на север. В ожидании поезда с Термеза он расспрашивал Маронова о подробностях именно этой катастрофы, и тот довольно точно вспомнил срок, в который каналу была возвращена его вода; он без усилия назвал число месяца и побочные обстоятельства того дня, когда в Кендерли производился пересев частично уничтоженных культур; он даже восстановил в памяти дислокацию и направление последних, уже разрозненных, каракумских кулиг, но он не поклялся бы, что встретил жену Мазеля и некоторых других в ту ночь. Может быть, вдоволь насмотревшись за время своего чусарства на повальную саранчевую любовь, он теперь стыдился говорить об этом. Пожалуй, здесь-то и произошла его собственная линька из второго возраста в третий, спокойный, ровный и мудрый. А он-то, чудак, думал, что тотчас же за горизонтом юности начинается его закат.

— Это хорошо, что ты приехал,—говорил Мазель, вертя мароновские пуговицы.—Все-таки проветрился, набрался сил...

Они стояли на полустанке, которого в сущности не было. Вообще ничего не было тут—ни станции, ни непременно на ней хлопотуна в красной фуражке. И опять начинался серый мурманский дождик, потому что дело склонялось на осень.

